

УРАЛЬСКИЙ

ISSN 0134-241X

Следопыт

1 '89



Слетело птицей покрывало... И словно бы самосотворился из неба и земли, будто восстал из травы, а не создан скульптором Вячеславом Клыковым памятник великому сыну и охранителю Руси — Сергию Радонежскому. Это открытие памятного знака случилось накануне праздника — 1000-летия крещения Руси.

Невольный стыд охватывает, когда коснется души история. Стыдишься малодушных мыслей о том, что слабы силы одного человека, в пыль перемалывают жернова времени его жизнь, тщетны потуги утвердиться в потоке народной судьбы. Но вот же оно — чудо! Шесть веков назад Сергей подвинул на защиту Отечества Дмитрия Донского и его воинство. Не храм воздвиг Сергей, не икону написал, не летопись вел. Ничего материального не сотворил, чтобы можно было увидеть это в музее. Духовным деянием вошел в память народа Радонежский. Не одним только благословением Дмитрия Донского на Куликовскую битву. А трудилась неустанно его душа, чтобы поднять русских, встревожить тем, что духовный распад страшнее поражений на полях сражений. Надо, учил Сергей, воспитать поколение богатырей, которые не ведали бы страха при виде свирепого кочевника. Ныне говорят историки: так сострадал Сергей Радонежский всем, кто бился на Куликовом поле, что видел все происходящее внутренним взором...

И стал Сергей Радонежский святым. И вновь собрал вокруг себя соотечественников — дальних потомков. Верится, не на час соединил он нас. Навсегда. И думать велит не о себе — о России.



УРАЛЬСКИЙ

Следопыт



1'89

В НОМЕРЕ:

В. Присадский МОЙ ДЕДУШКА — ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БАЖОВ	2
В. Пуронен КАМНИ ИЗ МАЛАХИТОВОЙ ШКАТУЛКИ	4
Э. Бахтин САМОСВЕТ — САМ СВЕТИТ	5
Г. Зайцев ГДЕ ТЫ, ПРЕЖНЯЯ СЛАВА!..	6
А. Килина ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ...	8
М. Найдич НАЗВАТЬ СВОИМИ ИМЕНАМИ. Стихи	9
М. Осоргин ВРЕМЕНА. Глава 1. ДЕТСТВО. Начало [Предисловие О. Ласунского]	11
Л. Ладейщикова ВСЕ С ДЕТСТВА НАЧИНАЕТСЯ	24

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «АЭЛИТА-89»

В. Малов ПОД СОЛНЦЕМ МАТРОСА СЕЛКИРКА. Фантастиче- ская повесть. Начало	26
ЗАОЧНЫЙ КЛФ	43
А. Стругацкий: «ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО...»	48
Ю. Зайцев ЛЕТИМ НА МАРС	53
А. Чуманов ВЕТЕР СЕВЕРО-ЮЖНЫЙ, ОТ СЛАБОГО ДО УВЕРЕН- НОГО. Повесть. Начало	57
И. Онкин ВСТРЕЧИ С ИСЕТЬЮ	79
МИР НА ЛАДОНИ	80

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Редакционная коллегия:
Станислав МЕШАВКИН
(главный редактор),
Евгений АНАНЬЕВ,
Виктор АСТАФЬЕВ,
Виталий БУГРОВ
Муса ГАЛИ,
Юний ГОРБУНОВ,
Герман ИВАНОВ,
Сергей КАЗАНЦЕВ
(ответственный секретарь),
Владислав КРАПИВИН,
Юрий КУРОЧКИН,
Давид ЛИВШИЦ
(заместитель главного
редактора),
Николай НИКОНОВ,
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
Анатолий СЕМЕРУН,
Константин СКВОРЦОВ,
Аркадий СТРУГАЦКИЙ

Художественный редактор
Евгений ПИНАЕВ
Технический редактор
Людмила БУДРИНА
Корректор
Майя БУРАНГУЛОВА

Адрес редакции:
620219, г. Свердловск,
ГСП-353, ул. 8 Марта, 22-в
Телефоны отделов:
51-55-58 (писем,
молодежных проблем)
51-22-40 (секретариат),
51-09-71 (фантастики, прозы и
поэзии),
51-53-20 (науки и техники,
публицистики),
51-09-69 (краеведения)

Рукописи принимаются перепе-
чатанными на машинке через
2 интервала, 60 знаков в стро-
ке, 28—30 строк на странице.

По вопросам подписки и до-
ставки обращаться в районные
отделения «Союзпечати».

Сдано в набор 06.10.88.
Подписано к печати 22.11.88.
НС 15213.
Формат бумаги 84×108¹/₁₆.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 8,82.
Уч.-изд. л. 11,9.
Усл. кр.-отт. 11,34.
Тираж 490 000.
(2-й завод: 250 001—490 000).
Заказ 449.
Цена 40 коп.
Типография издательства
«Уральский рабочий»
Свердловск, пр. Ленина, 49.

На 1-й стр. обложки порт-
рет П. П. Бажова. Мрамор.
1954. Г. Петрова (1899—
1986).

Фото Игоря Горячева.



К 110-летию П. П. Бажова

Здравствуй, дорогая редакция!

Пишет тебе «Вовка», «старший бажовский внук», о котором упоминает писательница Елена Евгеньевна Хоринская в книге «Наш Бажов».

Правда, я уже не тот бедовый мальчишка, за которым, как вспоминает Евгений Пермяк, «глаза да глазоньки» нужны, а взрослый человек. Вместе со своей семьей живу и работаю в Свердловске.

Когда я встречаюсь со своей мамой, Ольгой Павловной Бажовой, мы часто говорим о нашем папе и дедушке, образ которого словно бы продолжает жить в домике на улице Чапаева, 11. Быть может, мой рассказ в чем-то дополнит воспоминания о Павле Петровиче Бажове.

Мой дедушка- Павел Петрович Бажов

Владимир
ПРИСАДСКИЙ

Дедушка — дед. Слова равнозначные по смыслу. При жизни Павла Петровича слово «дед» в семье никогда не употреблялось. Звучит оно как-то грубовато. В доме было в ходу красивое и ласковое слово — дедушка. Моя бабушка Валентина Александровна Бажова говорила с уральским ударением на букву «о»: «наш дедушкó», «твой дедушкó».

Мой дедушка — среднего роста, с красивой белой бородой и живыми добрыми глазами. Если по какой-то причине дедушка был недоволен, он никогда не кричал, не повышал голос, только глаза хмурились и становились уставшими. И это было для меня высшим наказанием, чего я больше всего боялся.

В разговоре дедушка не навязывал своего мнения старшего — младшему. Голос у него глуховатый, говорил он не спеша, солидно, изредка спрашивая: а как ты думаешь, а как бы ты поступил или — а как бы ты посоветовал?

В дедушкиной руке, на запястье которой небольшая родинка, — неизменная трубка. Задумавшись, открывая и закрывая большим пальцем отверстие, где теплится огонек, он, тихонько покашливая, попыхивал трубкой, отчего на его щеках появлялись ямочки.

Одевался дедушка по-домашнему просто: серая рубаха и темные свободные брюки, на плечах старенький пиджак. В долгую зимнюю пору, весной и осенью он часто хаживал дома в теплых и мягких валенках-пимах домашнего катанья.

Помню дедушку склонившимся над письменным столом, через очки просматривающим рукопись или письмо, делающим какие-то пометки в них — толстым пятигранным карандашом синего или красного цвета. При просмотре мелкого текста он пользовался лупой. Помню дедушку и сосредоточенно пишущим своей заветной бамбуковой ручкой с простым ученическим пером № 86. Он время от времени протирает засорившееся перо самодельной перочисткой и не спеша обмакивает его в чернильницу-пузырек, наполненный фиолетовыми чернилами. Закончив написанный лист, дедушка берет со стола пресс-папье и аккуратно промакивает написанное, откладывает лист в сторону и принимается за следующий.

Позже, когда со зрением стало хуже, помню его за пишущей машинкой. Машинка стояла на специально сделанном столике, который располагался возле письменного стола.

Тихонько входя в комнату дедушки, чтобы попросить у него чистый лист бумаги для рисования, заточить перочинным ножом сломавшийся карандаш или заклеить конверт канцелярским клеем из бутылки, стоящей на полу возле письменного стола, я нередко заставлял его погруженным в раздумья. Опершись коленями на подставленный к столу стул, локтями облокотившись на лежащую на столе подушку-думку, любовно вышитую и подаренную ему дочерьми, дедушка задумчиво раскуривает свою трубку.

Иногда он встает и, не выпуская из рук трубку, медленно расхаживает по кабинету. О чем он думал в эти тихие минуты дня и вечера, какие строки своих сказов он тогда вынашивал?

Мой радости не было предела, когда в какие-то минуты дня дедушка оказывался свободен от своих дел. Тогда он сажал меня на колени, а затем соглашался покачать на вытянутой ноге. В эти мгновения я представлял себе, что еду по дороге на коне. Езда начиналась медленно и заканчивалась общим весельем и восторгом. Дедушка же, придерживая меня за руки и покачивая ногой в такт, приговаривал:

*Поехали, поехали,
по ровенькой дорожке,
по ровенькой дорожке,
шагом, шагом, шагом,
по кочкам, по кочкам,
рысью, рысью, рысью,
галоп, галоп, галоп,
через голову соскок!*

А потом дедушка рассказывал мне о своем детстве, как он вместе с заводскими ребятами играл во дворе в кости-бабки. Выигранные кости ребята тщательно хранили, так как без них в игру не принимали, да и в долг давали неохотно. Образцы бабок и биты он доставал из своего стола и показывал мне.

Сидя как-то за столом, дедушка решил показать мне веселых голубей. Для этого на указательные пальцы рук

он приклеил две небольшие бумажки. В глазах его светилась задорная смешилка. Положив оба указательных пальца с наклеенными бумажками на край стола, он говорил: «Видишь, сидят голуби». Затем, быстро взмахивая руками, незаметно для меня заменял пальцы и возвращал на край стола уже другие, без бумажных наклеек, и говорил: «Видишь, голуби улетели». При следующем замахе рук «голуби» снова возвращались на край стола.

А когда вечером в его комнате горела только настольная лампа, дедушка не раз показывал мне на стене тени милых зверюшек — то смешных собачек, то важного гуся, то зайца.

В ящиках дедушкиной конторки хранилась кукла Петрушка с длинным смешным носом, в ярком атласном костюме. Иногда дедушка доставал подаренную вещьцу, просовывал руку в специальную прорезь — и вдруг Петрушка начинал потешно наклонять голову, здороваясь, или хлопать в ладоши.

В ящиках конторки хранились и рога уральского горного козла, рожки были небольшие и имели несколько маленьких веточек. Помнится, дедушка говорил о каком-то особенном козле, про которого ему старики сказывали и которого не каждому дано увидеть.

Любимым временем работы над сказами для дедушки были ночные часы, когда ничто не мешало и не отвлекало, и тогда в его комнате до утра не угасал огонек. Из приоткрытой двери в темный коридор проникала полоска света и среди ночной тишины слышно было его покашливание и постукивание пишущей машинки.

Бывало, утро в дедушкином доме начиналось для меня по-другому. Тихонько, чтобы не увидела бабушка, я проскальзывал в комнату дедушки и забирался к нему под одеяло. Дедушка тепло обнимал меня, и мы вместе досыпали. Когда дедушка просыпался, я просил, чтобы он рассказал мне сказку. Дедушка не всегда соглашался. А если соглашался, то любил рассказывать про Великого сибирского кота — властелина сибирских лесов. Великому сибирскому коту приносили к обеду то быка, то барана, а он кричал, что все мало да мало ему.

Но когда я дедушке сильно надоедал, он рассказывал сказку-шутку:

*У царя был двор,
на дворе был кол,
на колу была мочала,
не начать ли сказочку сначала..*

И так несколько раз.

Потом дедушка вставал, одевался и шел к умывальнику на кухню. Умывался он по-мужски — шумно разбрызгивая воду.

По старому уральскому обычаю к еде никто не приступал, пока за стол не сядет дедушка. Он выходил из своей комнаты, отодвигал стул и садился сбоку стола на место хозяина. Бабушка устраивалась подле него с краю на высокий стул «с долгими ножками», с которого, как говорила она, ей было удобнее раскладывать на тарелки еду.

В разные времена содержимое стола не было одинаковым. Но всегда была различная зелень с огорода и выпечка из ягод и кисло-сладких яблочек из сада.

Желанными были бабушкин пирог с рыбкой, испеченный ею утром в русской печи, и картофельные шанежки с запеченной румяной корочкой. К пирогу с рыбой, как правило, ставили на стол бутылку с уксусом и баночку с приготовленным хреном. Любимыми блюдами были и жареная капуста, приправленная яйцом, или порезанная кружками картошка, обжаренная на сковороде. Часто к столу подавали целиком отваренную паровую картошку.

Завтрак заканчивался горячим чаем из самовара. Дедушка пил из стакана с серебряным подстаканником. Пил, обычно, не вынимая из стакана ложки, придерживая ее большим пальцем. Порой он брал со стола яблоко, разрезал его на дольки и клал в стакан с чаем. Любил пить чай с вареньем из яблок или ягод. Сахар же на столе стоял в сахарокорлке со специальными пилообразными щипцами. Часто дедушка брался за колку сам, приготавливая

кусочки сахара для всех сидящих за столом. За утренним чаем шли интересные беседы. Однажды в такой беседе дедушка поведал нам о какой-то горке, которая буквально покрыта крупной, сочной, красной брусничкой. Она, по-видимому, хранит тайну, тщательно охраняется и в этом месте немало змей и ящериц.

«Сдается мне, уж не железную ли руду эта горка скрывает», — раздумывал он.

Немало людей беседовало с дедушкой, сидя за чашкой чая. Помню писательницу Клавдию Рождественскую. У нее были темные, коротко подстриженные волосы, держалась она строго и сдержанно. Видимо, после этой встречи у меня появилась детская книжка «Голубой дворец» с ее автографом.

Отлично помню писателя Евгения Андреевича Пермяка, который много бывал в нашем доме.

Время между завтраком и обедом было у дедушки заполнено до предела. Он работал, закрывшись в своем кабинете, принимал бесконечных посетителей или уходил пешочком в город по неотложным делам, иногда не успевая вернуться к обеду.

Радостный, я встречал дедушку, когда он к вечеру выходил во двор, сад или огород — поработать или, как принято на Урале говорить, — робыть. Постоянно надо было поправить тынок во дворе, столб у заплата, отремонтировать лавочки в саду, вскопать огород, посадить картошку, полить сад и огород, убрать на сеновал привезенное сено, заняться дровами..

В день 65-летия П. П. Бажову подарили черную корову Зонну, которая прибавила забот в семье. Молоко затем щедро раздавалось соседям, друзьям и знакомым.

В тяжелую военную пору наша семья готовила новогодние подарки фронту. Дедушка в посылки складывал свои книги. Среди них были выпущенные свердловским издательством «Сказы о немцах», «Ключ-камень» и другие.

Запомнился мне день 65-летия дедушки. В доме было шумно и весело. В столовой накрыты праздничные столы. Вот вносят торт. Он необычных размеров и сказочно красив. По бокам украшен карамелевыми цветами, напоминающими каменный цветок. Сверху две книги — «Ключ-камень» и «Малахитовая шкатулка», искусно сделанные из сладостей.

В какое-то мгновение этого дня помню дедушку в кабинете, оживленно разговаривающим с гостями. Одет он в восточный халат зеленого цвета, на голове тюбетейка-четыреуголка — подарок писателя из Узбекистана.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1944 года дедушка был награжден орденом Ленина. В день получения ордена он вернулся домой к вечеру. Сняв пальто в прихожей, сразу прошел в свою комнату. Через некоторое время вышел в столовую с орденом, который надел для всех нас.

Еще одно воспоминание 1945 года — года Победы, связанное с домом и дедушкой.

Ночь. В доме тишина. Дедушка, наверное, еще работает. Сквозь сон слышу, как постукали в наше с мамой окно. А немного погодя послышался стук входной двери. Мама чуть слышно заплакала. В голове промелькнуло: отец с фронта вернулся!

Потом оказываюсь в объятиях отца и на его руках попадаю в ярко освещенную столовую. Все в доме уже на ногах. На столе белая скатерть, и уже собирают на стол. Внимательно разглядываю отца. На нем выгоревшая пожелтевшая гимнастерка. Он так в ней и садится за стол.

Но вот дедушка встает и тихонько уводит отца в свой кабинет, слабо освещенный настольной конторской лампой с зеленым абажуром. Они садятся возле письменного стола и опять о чем-то долго говорят. Изредка отец весело смеется. Вот дедушка открывает ящик письменного стола и достает из него пачку папирос «Советский Союз». В ней только две папиросы. Одну он протягивает отцу: «Помнишь, Женя, наш уговор перед войной: коли, удастся вернуться живым, вместе выкурим эти две папиросы — на счастье...»

А как похожа на зооса, то он, как зебра шалосат, то здриса мекисется картинка и перед нами - хвост нависа

Очень душно до смирнога, хочется, фару дами байилим! Творят перед от жугов, а очитая - от душим.

Восхищен-увлекательный процесс, не забудь зелье от болезни! Фрукты и овощи не мешкай! И в них много витаминов! И в них много энергии!

Иван Степанов



Владимир ПУРОНЕН

Камни из малахитовой шкатулки

Еще учеником пятого класса, во многом под влиянием уральских сказов, я увлекся минералогией. Нет, ни геологом, ни горным инженером я так и не стал — работаю в школе. Но любовь к «камушкам» сохранил на всю жизнь.

Хотя я много раз читал и перечитывал Бажова, но лишь в последнее время обратил внимание на то, что автор не назвал ни одного самоцвета из числа подаренных Степану Медной горы Хозяйкой... Что же там было, в малахитовой шкатулке? Наголовник, серьги, кольца, бусы — до семи рядов, и «протча по женскому обряду»... В числе этого самого «протча» наверняка были зарукавья (браслеты), броши, подвески... Какие камни их украшали? Разноцветные — вот и всё. О некоторых сказано, что они чистые, как слеза, другие — как кровь густая...

И все-таки что это за камни — прозрачные, желтые, красные?

Урал. Каменный пояс... Как там у Бажова? «Пояс и есть. Вишь какой! В длину тысячами верст считают, а сколь он широк и на сколько в землю врезался, этого никто толком не знает. В поясах, по старине известно, казну держали... Только понятно, в таком поясе богатств не честь. По этому Поясу земли, говорят, широкая лента

украшений прошла из дорогих камней. Всякие есть, а больше сзелена да синя. Изумруды, александриты, аквамарины, аметисты. А по самой середине этой хребтины двойной ряд хризолитов... Мы эти камни золотоцветниками зовем».

Итак, изумруды, александриты, аквамарины, аметисты, хризолиты. В других местах упоминаются агаты, дурмашки, бериллы, топазы, тяжеловесы, турмалины, сапфиры, рубины, цирконы, эвклазики... Богат самоцветами Урал, очень богат! Пожалуй, на всем белом свете не найти такого изобилия.

Какие же из них были в малахитовой шкатулке?.. Не было там янтаря, кораллов, жемчугов, лалов (шпинели), бирюзы. Ведь Хозяйка могла подарить Степану камни лишь из своих, уральских, владений.

Не было в шкатулке и изумрудов, хотя именно здесь, на Среднем Урале, в изумрудных копях знаменитой Мурзинки, добываются лучшие в мире изумруды. Уральские изумруды можно встретить и в коронах европейских монархов, и в сейфе нью-йоркского банка, и в сундуке индийского раджи... Но из текста следует, что Хозяйка подарила Степану целую горсть изумрудов отдельно от шкатулки, и после его смерти они рассыпались в пыль.

Но тут дотошный читатель схватит меня за руку: «Позвольте, ведь Бажов называет их не изумруд, а медный изумруд — совсем другой камень!» Верно... Медный изумруд, он же «изумруд из киргизских степей», он же «аширит», он же «диоптаз» — камень гораздо менее ценный, чем изумруд. Это так. Однако в конце XVIII века — а именно к этому времени и относится действие сказа — диоптаз считался разновидностью изумруда... Они так схожи, что даже специалисты их не всегда различали.

Конечно, не было в шкатулке яшмы, дурмашкова, орлеца — камни эти недорогие, поделочные, ларчики да латочки из них изготавливали.

Зато наверняка были перстни, серьги или броши с алмазами. Алмазные россыпи Урала не богаты, но найденные здесь кристаллы хоть и невелики по размерам, но по красоте и прозрачности настоящие ювелирные камни, «чистые, как слеза». Между прочим, один из трех первых уральских алмазов, найденных в 1829 году близ Бисертского завода, был подарен супруге Николая I в шкатулке из малахита.

«Чистыми, как слеза», могли быть и бусы из горного хрусталя. Слово «хрусталь» происходит от греческого «лед». Уральские мастера славились обработкой хрусталя. По воспоминаниям А. Е. Ферсмана, в селе Березовском, под Свердловском, еще в двадцатых годах жили кустари, которые на простейших станочках обтачивали кварцевые гальки и готовили великолепные, сверкающие, как алмазные, ожерелья. Ограниченные самой природой кристаллы горного хрусталя в старину так и называли: во Франции — алансонскими алмазами, в Германии — богемскими, немецкими, саксонскими или рейнскими алмазами, в Англии — бристольскими или корнуэльскими, в Америке — аляскинскими, квебекскими, арканзасскими, колорадскими, мексиканскими алмазами...

Один ряд бус мог быть из хрусталя, а еще несколько — из других разновидностей кварца: аметиста, цитрина, раухтопаза, агата. Аметист на Руси когда-то ценился дороже рубина и был излюбленным камнем служителей церкви. Цитрин напоминает «цитрусовые», и недаром: свое имя камень получил из-за лимонно-желтого цвета. Агат — красивый, многоцветный, тонкие цветочные переходы делают его крайне привлекательным. Издавна агат научились подкрашивать для получения более красивого цвета и богатых оттенков; с этой целью камень вываривали в меду, обрабатывали солями и кислотами... Раухтопаз — устаревшее название дымчатого кварца, в обиходе уральские камнерезы и торговцы называли его просто топазом. С давних пор годился он для бус, подвесок, колец, но еще чаще — для получения более ценного цитрина: с этой целью когда-то дымчатый кварц запекали в хлебе.

А вот настоящие топазы за их высокую плотность получили на Урале прозвище «тяжеловесов». Известен этот самоцвет и под другими именами — «сибирский алмаз», «саксонский хризолит», «бразильский рубин» и т. д. Легкостью и прозрачностью, внутренней игрой света он напоминает каплю росы. Считалось, что топаз делает своего владельца честным и великодушным. Бусы и подвески из него хороши!.. А в оправе он малопривлекателен, хотя и не дешев.

Пожалуй, чаще других у Бажова упоминаются хризолиты (кразелиты). Вообще-то хризолитом называют прозрачную разновидность оливина золотисто-зеленого цвета. Есть поверье, что хризолит охраняет носящего его от неразумных поступков и дурных снов. Лучшие хризолиты добывают на Кугдинском месторождении в Восточной Сибири. На Урале хризолиты не самого лучшего качества — почему же этот камень описывается столь восторженно? Весь секрет в том, что уральские горщики называли хризолитами совсем другой, более ценный самоцвет — демантоид — великолепный зеленый гранат, самый красивый из группы гранатов. На мировом рынке демантоиды ценятся не ниже изумрудов. В малахитовой шкатулке могли быть только ожерелье и подвески из «кразелитов» — для колец демантоид не годится, слишком мягок.

Были в шкатулке и другие гранаты. Встречаются они часто, но хорошие камни редки. Бывают гранаты фиолетово-красные — альмандины, розовые — родолиты, изумрудно-зеленые — уваровиты. Яркие красные гранаты носят название пиропов, а раньше их называли карбункулами. «Красные, как кровь...» Похоже, это сказано о гранатах.

А почему не о рубинах? Рубины и сапфиры (яхонты червленые и яхонты лазоревые) относятся к высшей категории драгоценных камней. К сожалению, уральские рубины невысокого качества, а ювелирных сапфиров практически нет.

Зато есть аквамарины, александриты и турмалины. Аквамарин — прозрачный голубой или зеленовато-голубой берилл, младший брат изумруда. Свое название получил за сходство с цветом морской воды. Родственником изумруда является и александрит — изумрудно-зеленый при дневном свете и фиолетово-красный при электрическом. Уральские александриты стали редки, но в свое время считались эталонами качества. Меняет свою окраску от освещения и турмалин; сейчас он забыт ювелирами, а в XVIII веке за него платили бешеные деньги...

Были в шкатулке браслеты (в форме змейки!) и бусы из малахита. Но в те годы этот замечательный камень обычно использовали на более крупные поделки.

...А что же циркон, фенацит, эвклаз — нашлось ли им место в шкатулке? Чем эти камни плохи? Совсем нет, не плохи. Но самоцветы эти использовались как имитации бриллиантов. А зачем Хозяйке Медной горы подделки?..

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ

Эрнест БАХТИН

Самосвет — сам светит

Академик А. Е. Ферсман, выдающийся советский минералог, в своей книге «Рассказы о самоцветах» писал: «...Не раз старики-горщики на Урале... рассказывали мне о самоцветах родного края, и в их произношении слышалось не то самоцвет, не то самосвет, как будто они хотели выразить не только яркую окраску камня, но и его внутренний свет, прозрачность и чистоту...»

Несомненно, уральцы говорили «самосвет», определяя так любой самосветящийся камень. И в самом деле, прозрачные, бесцветные (чистой воды!) бриллианты или природной огранки кристаллы алмаза, горного хрусталя, диамантов, а также светло окрашенные, пусть и с густым цветом, но способные сверкать, сиять и искриться минералы — ведь они самосветы!

Самосвет — который сам светит. В русском языке найдется немало таких словообразований. Самовар, самоход, самопал, самолет... Сам варит, сам ходит, сам палит, сам летает... Сам цветет. А кто же скажет: «Сам цветит»?!

В старой России выделяли драгоценные камни — прозрачные, цветные или бесцветные и слабо окрашенные, но светящиеся и сверкающие кристаллы; и цветные камни — красиво окрашенные, но не прозрачные и не светящиеся кристаллы, минералы и горные породы. Цветниками называли кремни и опалы, халцедоны и яшмы, агаты — несмотря на то, что некоторые из них просвечивают.

А. Е. Ферсман, не соглашаясь с мелкочурчужным оттенком термина «драгоценные камни», заменил его более кратким и более красивым, поэтическим словом — «самосветы».



«Каменный пояс»... Когда так называют Урал, это название само собой предопределяет, что немалая часть культуры и художественной деятельности жителей Урала должна обязательно опираться на камень. Европейцы так и представляют себе уральскую культуру.

Славу камнерезному искусству Урала принесли всемирно известные вазы и чаши. Наверное, из десяти ваз, выставленных в музеях Ленинграда и его пригородов, восемь созданы на Екатеринбургской гранитной фабрике, воспроизведением которой является завод «Уральские самоцветы».

Ряд изумительных по красоте творений, начиная с цилиндрической вазы из калканской яшмы 1776 года и кончая яйцевидной вазой 1873 года с обильной резьбой, вошли в золотой фонд русского камнерезного искусства.

Позже вазы уже делались от случая к случаю... Их количество год от года уменьшалось, и не было в них ни рафинированной чистоты вазы в виде сплюсненного шара из яшмы, созданной в 1816 году, или яйцевидной вазы из ашкульской яшмы 1833 года... Исчезла монументальность плоской чаши из таганайского авантюрина 1854 года... Не стало сплошного ковра резного рисунка яйцевидной чаши из калканской яшмы 1873 года...

Век крупных изделий завершился на Екатеринбургской гранитной фабрике большим заказом конца XIX века на оформление храма Воскресенья Христова (т.н. «Спас на крови») в Петербурге. За последующие семьдесят лет ни крупных ваз, ни огромных чаш уже не создавалось.

А уральская мозаика?.. В одном случае это была техника русской мозаики, позволявшая создать малахитовые колонны Исаакиевского собора, интерьер одного из залов Зимнего дворца и кабинет в особняке Демидовых на Большой Морской улице в Петербурге. Строго говоря, это — творения не только уральских мастеров, но камень-то наш! Крупные работы по облицовке каменных интерьеров давно прекратились. Траурный зал Мавзолея В. И. Ленина, зал, где вручают верительные грамоты в Большом Кремлевском дворце, или станция Московского метрополитена «Маяковская» были единичными явлениями, да и по своим масштабам они значительно скромнее.

В другом случае это была техника флорентийской мозаики, самая значительная работа в этой области на Урале была создана в конце XIX века. Это — ставшая уже легендарной карта Франции для Всемирной выставки 1900 года. Тщательно подобранная из разных самоцветных и драгоценных камней, оправленная благородными металлами, она поражает и ныне зрителей музея Шантэли близ Парижа своей уникальностью. В 1937 году

опыт повторили и создали более крупную и не менее уникальную «Карту индустриализации», что ныне хранится в стенах Государственного Эрмитажа. Судите сами о ее масштабности: 27 квадратных метров, на которых укреплено свыше 45 000 пластинок из камня... Есть чем гордиться!

В Свердловске имеется уникальный памятник флорентийской мозаики — «Ящмовое фойе» Дома промышленности. Его жемчужиной является панно «Выступление Серго Орджоникидзе на Уралмашстрое», собранное из многих сотен ящмовых пластинок.

На долгие годы забыли уральцы эту технику... Хотя как раз она и позволяет создать монументальные, значительные произведения. К счастью, в последние годы наметилась тенденция к ее возрождению. На одной из выставок в Свердловске экспонировался портрет П. П. Бажова, выполненный В. Саргиным и М. Надеенко. Это, пожалуй, первая послевоенная удачная попытка возврата к флорентийской мозаике. Появилось еще несколько работ: портреты, выполненные для Казанского университета и курорта Усть-Качка на заводе «Уральские самоцветы» под руководством Е. Васильева; оформление универсама на Уралмаше, выполненное С. Пинчуком, О. Костюниным и братьями А. и В. Мирошниковыми.

Больше повезло мелкой каменной пластике: шкатулкам, чернильным приборам, бюварам, пресс-папье, ящмкам, брелкам. К этому списку прибавились еще памятные сувениры в виде настольных ваз, чаш, обелисков, посвященные значительным событиям или достижениям, а также безграничное море значков с каменными вставками.

В этой области по-прежнему царуют малахитовые, родонитовые и яшмовые шкатулки, хотя они в большинстве своем повторяют то, что найдено было еще сто лет назад. Это скорее радость материала, чем формы. Редко когда встречается интересное сочетание камней, гармонично дополняющих друг друга. Удачной была на выставке 1981 года в Свердловске ваза Н. Бакулина «Декоративная», созданная из малахита, обсидиана и мелхюра. Привлекала внимание и ваза «Капель» А. Дорониной из горного хрусталя и латуни. В этих работах органично сочетались старое и новое. Интересной явилась и серия памятных сувенирных ваз и стел, изготовленных на заводе «Уральские самоцветы» для встречи на высшем уровне в Москве М. С. Горбачева и Р. Рейгана в мае 1988 года. Это и декоративная ваза «Москва» из яшмы и белого мрамора со стилизованными зубцами Кремлевской стены, стела из нефрита и яшмы, украшенная флагами двух стран, и кубок «Космос» из льдистого кварца, офита и лазурита. Их автором был Е. Васильев.

К сожалению, все это нечастые удачи. Остальное — проходит перед зрителем в виде однообразного ряда схожих композиций и приемов.

...Когда охватываешь взглядом камнерезное искусство за минувшие два с лишним сотни лет его существования, явственно проглядываются закономерности его постепенного угасания, которые для рядового зрителя остаются «за кадром». В чем причины этого угасания?

Для монументальных камнерезных изделий главный ответ лежит на поверхности: нет государственных заказов. Чтобы монументальное камнерезное искусство расцвело, оно в первую очередь должно получить живительную силу целевых заказов. По своей инициативе, даже кооперативом, дорогостоящую вазу не создашь...

До 1917 года Екатеринбургская гранитная фабрика все крупные вещи создавала по заказу императорского двора. В переводе на современный язык это был государственный заказ. Действительно, только государство могло позволить себе те огромные затраты денег, времени и материалов, которые уходили на изваяние чаши высотой в 146 см при диаметре 246 см, созданной мастером Г. Налимовым из таганайского авантюрина. Частные заказы даже от аристократов-миллионеров были значительно скромнее.

Вот одна из причин нашего духовного обеднения — сейчас, в век хозрасчета, никто таких работ не заказывает,

Что ж, в наши дни нет широких перспектив для ваз и чаш, для мозаики?.. Нет, перспективы есть. В станциях метрополитена, в залах и фойе Дворцов культуры и в других общественных зданиях гармонично сочетались бы с убранством залов и чаши, и мозаика, и статуи, и капители... А мы же сегодня краснеем за отмеченную премией расточительную безвкусицу оформления Дворца культуры Уралмаша... Торцами неотделанных обломков ящм «украшены» его стены — да разве так проявляется фактура камня?!

Может быть, больше повезло мелкой каменной плитке? Но и здесь полностью исчезли отдельные виды. Подделки под искусство формируем мы художественный вкус жителей города и его гостей; подделки под искусство проникают и на крупнейшие выставки...

А истинные, народные произведения камнерезного искусства объявляются пошлостью и изживаются с глаз долой, из жизни вон! Еще А. Е. Ферсман отмечал прелесть и занимательность знаменитых уральских горок — с XVIII века делали их на Урале. Последние настоящие горки были проданы в середине 50-х годов нашего века. Попытка возродить их не имела успеха: был нарушен принцип логичности минеральных ассоциаций — то, что так ценил в них художник А. Денисов-Уральский. Взамен появились коллекции в коробках — плоские пластины, часто с случайным подбором; взамен — куча ненужных сувениров, на которые и смотреть-то тошно, дикой дороговизны аляповатые лотошницы и коробки (не шкатулки!)...

Мы забываем, что многие кристаллы каменного сырья ценятся в породе дороже, чем тот же материал, который из них получен после механической обработки.

Уральские горки, однако, забыты настолько, что даже принцип их конструкции новым поколением уже не воспринимается. Несколько месяцев тому назад один из камнерезов-любителей представил свою «горку» на закуп музею изобразительных искусств. Автор склеил роскошные полированные образцы, считая, что создал уральскую горку. Вместо горки получился винегрет из уникальных экспонатов...

Более полувека как забыты и наборные картины, которые умели составлять уральские горщики. В таких картинах твердый задник делался в виде живописного пейзажа, а передний план монтировался из осколков настоящих камней, подобранных самым искуснейшим образом.

Пожалуй, не менее остро стоит и проблема самого камня. Прежде всего порочна практика закупа его. Добычные предприятия поставляют яшму или родонит, как картошку... В итоге художники вынуждены становиться либо на путь хищничества, либо добывают нужный камень путем сложного обмена. Чаще всего получается вовсе плохо: художник находит в куче случайный камень и под него подгоняет замысел. Камень насыщается формой или, наоборот, разрушает ее полностью. Парадоксально, но исходный материал, захваченный ковшем экскаватора, диктует результат конечного изделия, которое было задумано как художественное произведение, в согласовании с возможностями, выразительностью камня и фантазией творца...

Нашим добычным предприятиям важно выполнить план по валу, а о качестве пусть думает... художник. В итоге уральцы, при обилии собственного, местного материала, охотятся за привозным. Везем мрамор и гранит из-за тридцати земель для отделки станций Свердловского метрополитена; видно, будем возить камень и для подземки в Челябинске и Перми... Это вообще не укладывается ни в какие разумные рамки!

А ведь есть свой камень!.. Только в Свердловской области открыто целое созвездие месторождений поделочного и облицовочного камня, которые до сего дня лежат втуне. Вот уже несколько лет практически не затронуты разведанные геологами розовые граниты Камышевского и Головыринского месторождений, кварцевый диорит темно-зеленого цвета Чернового месторождения, черно-зеленое декоративное габбро месторождения «Графь», лиственит «Горсова лога», отличные мраморы Новоивановского ме-

сторождения, амфиболовые известняки Алексеевского месторождения... Не говоря уже о Кырнинских известняках Пермской области или совершенно очаровательных строматолитовых известняках Лемезинского месторождения в Челябинской области.

Все это — упущенные возможности обогатить палитру наших художников-камнерезов. Не одни художники виноваты в том, что палитра их скудна.

А то, что имеется, расходуется с какой-то разудалой щедростью сиюминутного существования. Полтора десятка лет назад наши внешнеторговые организации заметили, что западноевропейские фирмы усиленно закупают у нас огромные, как надгробья, чернильные приборы из родонита. Они годами пылились на полках магазинов и художественной ценности не представляли. Выяснилось, что эти изделия массового производства за границей аккуратно демонтируются и распиливаются на тоненькие дощечки. Затем тщательно отделанные вставки из родонита-орлеца оформляются металлом и каждая продается гораздо дороже, чем весь чернильный прибор в целом...

Есть еще более разительные примеры нашего бесхозяйственного отношения к такому неповторимому природному материалу, как декоративный камень. Все знают, как за три неполных столетия был изведен на краску и облицовку малахит. Те 800 тонн малахита, что были добыты на всех месторождениях Урала до 1917 года, исчезли практически на две трети. Такой же конец ждет и родонит — лучший родонит в нашей стране из месторождений в окрестностях Свердловска.

Декоративный камень уничтожается прямо на месте залегания. В Лебяжинском карьере мрамор стали рвать на известь, и возникшая в массиве пород сеть мелких трещин сделала невозможным его извлечение в сколь-либо значительных блоках. Мраморное месторождение в Полевском районе более чем 200 лет питало сырьем Мраморский завод, и качество местного камня едва ли уступало карарскому статуарному мрамору Италии. Взрывами губили огромные запасы этого поистине бесценного сырья... Создать что-нибудь похожее на знаменитую «Сибирскую галерею» XVIII века из этого мрамора, увы, уже невозможно. Не добывается за ненадобностью уральский амзонит, а таганайский авантюрин вытеснен искусственным.

Казалось бы, промышленность не испытывает дефицита в яшме: богатая по рисунку обресь используется бездумно для украшения полов и стен зданий, где куски яшмы просто вдавливаются в цемент. Настораживает и другое: заявки ведущих заводов Урала на яшму год от года уменьшаются. С другой стороны, геологи — хозяева месторождений — не могут удовлетворить заказы на крупные глыбы из-за отсутствия соответствующих механизмов. Конечно, у яшмы большое будущее: устойчивость к внешнему воздействию позволяет использовать ее в наружной отделке. Пока еще этого материала много. Но надо и к нему относиться бережно, чтобы его не постигла участь малахита.

Чтобы не пресекалась связь времен, чтобы грядущие поколения могли здесь, на Урале, наслаждаться красотой каменного чуда, нужно сейчас менять в корне наше отношение к камню, к камнерезному искусству, иначе оно угаснет безвозвратно. Почему бы не рассмотреть вопрос об организации в Свердловске всесоюзного базового предприятия камнерезного искусства — для выполнения мозаичных и объемных работ? Надо чтобы были пересмотрены цены на произведения монументального искусства, чтобы наши архитекторы смелее опирались на включение таких работ как в интерьеры, так и на открытом воздухе.

Удивительно, что до сих пор на Урале нет единого музея камнерезного и ювелирного искусства — все собранное расредоточено между десятком областных, городских и ведомственных музеев... Такой музей мог бы стать очагом сохранения традиций, научно-методическим центром и хранителем наиболее ценного. Почему бы не организовать в Свердловском архитектурном институте отделение прикладного искусства с серьезной базой? Нет такого отде-

ления и в Свердловском художественном училище... Откуда же возьмется новое поколение мастеров?

Давайте сядем за большой круглый стол — и художники, и искусствоведы, и архитекторы, и геологи, и добытчики, руководители региона, все, кто имеет отношение к этому делу.

Давайте вспомним гранитные колонны, малахитовые каминные, столешницы из орлеца и подоконники из яшм, мраморные статуи и лестницы... Давайте посмотрим, как отделаны цоколи старых зданий... Вспомним прежних мастеров, по многу лет ваявших каменные цветки свои...

И давайте подумаем: как возродить былую славу камнерезного Урала?

**Анна
КИЛИНА**



Уголок седого Урала хранит память о временах, когда рабочий люд ходил под каблуком заводских владельцев... Жил в то время в Сысерти заводской мастеровой, рабочий пудингово-сварочного цеха Петр Васильевич Бажов. За острый язык получил он прозвище Сверло. Его часто «проветривали» — отказывали в работе на год, а то и больше. Тогда приходилось искать место в округе. Переезжать было трудно: в Сысерти домишко, какое-никакое хозяйство. Рос маленький сынишка Павлуша. И семья возвращалась назад, на «свои места»...

В 1979 году по просьбе сысертян дом семьи Бажовых было решено отреставрировать и создать в нем музей. О быте, образе семьи, дома, где рос мальчиком уральский писатель, известно было мало. Помощь в создании музея оказал... сам Павел Петрович Бажов. Своими автобиографическими произведениями. Научные сотрудники искали бажовские «подсказки». Составляли длинный список вещей, которые имелись у Бажовых. По домам собирали экспонаты: у кого пылились в чулане литые подсвечники, у кого деревянная прялка еще исправно служит, а о коромыслах разговору нет — и теперь с ними по воду ходят...

Обставляя комнату, долго гадали: мог ли висеть в семье простого рабочего над кроватью скромный коврик — плюшевый, например? Сомнения разрешила соседка. Провела в свою комнату: «Да у меня до сих пор такой висит! Молодые-то не признают, сверху модным завесили...» Старушка отогнула уголок яркого ковра, и точно: под ним, на память оставленный, скромный, вытершийся коврик. И именно плюшевый!

Николай Петрович Старков решил подсобить — старую конскую сбрую для музея отремонтировал. Принес —

и в конюшне терпко запахло дегтем и лошадиным потом. Будто только что стоял в этой сбруе рысак Чалко, которого взяли у заречинского дедушки, чтобы отвезти десятилетнего Пашу в Екатеринбург учиться...

И вот первые посетители. На крыльцо поднялась бабуля, приоткрыла дверь, осторожно заглянула и... показала головой: «А сказали, музей! Какой же это музей — изба!» Слова эти стали лучшей похвалой, высшей оценкой трехлетней реставрационной работы.

...Августа Степановна, мать писателя, вконец изводила глаза — сидела над рукоделием. Плела на заказ кружева, делала ажурные салфетки, коклюшные наволочки. Все эти изделия видим мы в комнате. Может быть, такими вечерами, когда мерцает керосинка и жужжит прялка, бабушка Авдотья Петровна, отдыхая от вечных хлопот по дому, рассказывала внуку страшновато-сказочные истории про Хозяйку Медной горы, которая охраняет богатства земли уральской от злых людей.

В небольшой горнице только необходимое: деревянная кровать, стол с парой стульев, шкаф для посуды, комод, икона с лампадкой в парадном углу. В крохотной кухне только-только места полкам, туесочкам, самовару с «коленом», чугуному утюгу, хвату... А в холодном чулане — бабушкины владения, здесь хранятся припасы. В незатейливой обстановке, грубой одежде, простеньких половиках, в скрипе половиц, которые любовно начищали речным песочком, есть необъяснимая прелесть. Может быть, это ощущение людских корней, чувство родной земли, нашей истории?..

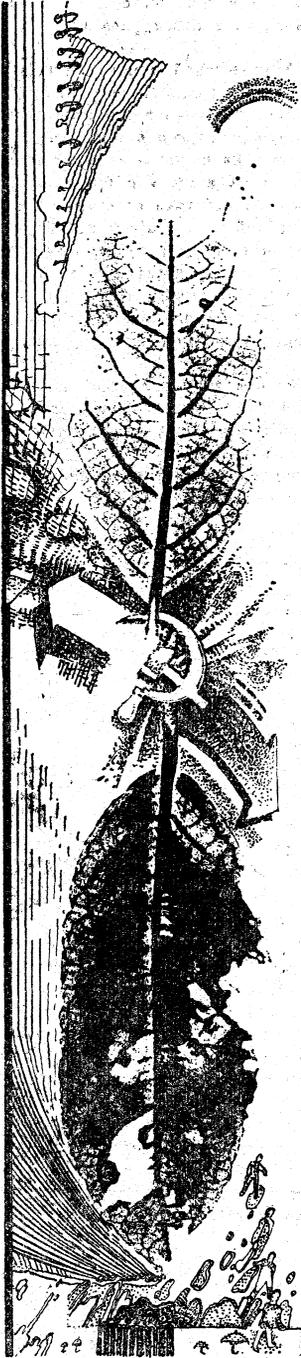
...Одна туристка из столицы, усомнившись в подлинности обстановки, сказала: «А занавески-то современно повешаны, по-французски». Пришлось объяснить, что не по-французски, а по-сысертски, «штанами»...

А вообще горожане, приезжающие сюда, подолгу внимательно изучают экспонаты, любят посидеть во дворе на лавочке, подышать чистым воздухом, смешанным с пряным запахом сена и ароматом ромашки, пробивающейся между каменных плит.

*Рисунки
Розы Атлас*



Рисунок
Владимира Ганзина



Михаил
НАЙДИЧ

НАЗВАТЬ СВОИМИ ИМЕНАМИ

* * *
Мы сами многое накликали,
молясь иль просто говоря:
подайте нам вождя великого,
подайте нам поводыря.
Как будто по воде и посуху
к тем лучезарным небесам
нам и не двинуться без посоха —
незрячим винтикам,
слепцам...
Еще идти нам по развалинам —
бороться, зная свой удел,
и с тем (поменьше ростом!)
Сталиным,
который все же
в нас засел.

* * *
Землю давно просквозило, —
где же они, чудеса?
В сутках осталось, как было,
двадцать четыре часа;
но в каждом часе и миге
чувствуешь ты всякий раз:
что-то меняется в мире,
что-то меняется в нас.

* * *
Тучи. Позади и впереди
над лесами и рекой повисли,
сколько все же мрака, погляди,
в их открытом
да и скрытом смысле.
Будто распростёрла над землей
крылья фиолетовая птица
с мыслью обжигающей одной:
«Солнцу ни за что не дам пробиться».
Тучи?.. Расползется их свинец,
посветлеет небо над волнами, —
зря смогли мы, что ли, наконец
все назвать своими именами!

* * *
Стоят начальственные кресла,
стоят столы. Во всем размах.
И все же многое исчезло
здесь, в кабинетах... а в умах?..
Охвачены, как прежде, тряскою
пять телефонов. Звон и гром.
Но секретарши чуть поласковой
к тем, кто приходит на прием.

А сам хозяин кабинета
вздыхает: смутно на душе.
Прямой угрозы вроде б нету,
но — надо быть настороже.
Ах время, жесткое, упрямое,
глядишь — и обожжет огнем...
И кресло вроде б тоже самое,
да вот ворочаешься в нем.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Чего же больше — тени? света?
Война оставила следы,
но разве в слове том «Победа»
нет одоления беды?
И все же сколько
горя, боли,
где в тупиках укрылась мразь...
Казалось, что на минном поле
мечта опять подорвалась.

Послевоенная остуда;
но трудных дел —
невпроорот.
И непонятно, кто ж Иуда?
Кто трудится?
Кто предает?
А голоса звучали хрипло,
но даже там, где чад и дым,
ни капли грязи не прилипло
к знаменам Октября
святым.

Стучало сердце под рёгланом
в дни обретений и потерь:
«Не разувериться бы в главном —
и все поправится,
поверь!»
И не тогда ль мы думать стали
по-настоящему, всерьез,
что не какой-то вождь, не Сталин —
а сами вывезем
свой воз.

* * *
Кладбище обычное.

Погост.
Тучи, тучи. Как над всей державою.
Памятники:
этим — в полный рост,
а другим —
лишь пирамидка ржавая.
Дождь стучит по камню, эка пруть,
да и ветер гнет кусты нахраписто...
На земле неравенства не скрыть;
под землею —
подлинное равенство.

* * *
А под конец придут простые вещи:
стог сена... куст... росинки на кусте.
Поверишь снам, в особенности вещим, —
они не возникают в пустоте;
Они порой загадочны, глубинны:
вчерашний день и давний полдень тут,
вот и всмотришься, как в поле рвутся мины,
и вслушайся, как яблони цветут.
Тут не пройти дорогою иною,
и, самому себе шепнув: «Держись!»,
еще поймешь, поймешь, что за спиною
нет ни-че-го... Одна лишь только жизнь.



М. А. Осоргин. Париж, 1930-е годы.

Мощная волна обновления прокатилась по нашей литературе. Не без смущения мы вынуждены признать, что плохо представляли ее подлинное многообразие и богатство. Открытия следуют одно за другим.

И вот еще одно незаслуженно пребывавшее в забвении имя. Для уральцев оно обретает особую цену...

Михаил Андреевич Осоргин (настоящая фамилия — Ильин) родился 7(19) октября 1878 года в Перми. Родителей весьма почитал и посвятил им позднее глубоко лирическую книгу «Вещи человека» (Париж, 1929), состоявшую из двух основных глав: «Портрет матери» и «Дневник отца». В 1897 году М. А. Осоргин окончил пермскую гимназию и, следуя по стопам отца, Андрея Федоровича Ильина, поступил на юридический факультет.

После окончания Московского университета биография М. А. Осоргина складывается довольно драматически. В 1905 году за участие в революционном движении его арестовывают, потом выпускают под денежный залог, и, опасаясь новых полицейских преследований, Осоргин уезжает за границу, живет преимущественно в Италии. В 1916 году возвращается в Россию, с энтузиазмом встречает революционные события 1917 года, принимает активное участие в культурной и общественной жизни молодой республики.

Однако осенью 1922 года в составе большой группы московской творческой и научной интеллигенции М. А. Осоргин был выслан за рубеж. Инициатором этой сугубо административной акции он и его товарищи всегда считали Л. Д. Троцкого. Срок высылки был определен в три года. Увы, вернуться домой так и не довелось. С осени 1923 года М. А. Осоргин обосновался в Париже.

Следует со всей прямотой сказать, что сам он никогда не считал и не ощущал себя эмигрантом (в негативном смысле этого слова), до последнего часа надеялся на встречу с Родиной. От советского подданства он не отказался, регулярно ходил продлевать срок действия своего паспорта в советское посольство. Когда французская столица оказалась под угрозой гитлеровской оккупации, М. А. Осоргин, не раздумывая, покинул Париж и уединился в тихом городке свободной зоны — Шабри. Там его больное сердце не выдержало потрясений (к ним добавилось известие о вероломном нападении фашистской Германии на СССР), и М. А. Осоргин умер 27 ноября 1942 года. Эта «неудачная» смерть в какой-то мере объясняет то обстоятельство, почему имя замечательного писателя оказалось отодвинутым в тень на фоне переживших вторую мировую войну коллег-парижан — И. Буннина, А. Ремизова, Б. Зайцева, М. Алданова и др.

Литературная деятельность Михаила Андреевича Осоргина началась в пору уральской юности. Еще в марте 1896 года гимназист послал тайком в «Пермские губернские ведомости» некролог на смерть классного надзирателя — он был напечатан. В том же году под псевдонимом «М. Пермь» опубликовал свой первый рассказ «Отец» в петербургском «Журнале для всех».

В начале века М. А. Осоргин приобретает определенную литературную известность. Его зарубежные корреспонденции регулярно появляются на страницах газеты «Русские ведомости». В московском издательстве «Жизнь и правда» выходят небольшие, публицистического характера книжечки, рассчитанные на читателя из народа. С большим вниманием были приняты публикацией «Очерки современной Италии» (1913). В 1917—1918 гг. увидели свет беллетристические сборники «Призраки. Три повести», «Сказки и несказки». В 1921 году по просьбе режиссера Е. Б. Вахтангова Осоргин перевел в стихах с итальянского языка пьесу Карло Гоцци «Принцесса Турандот». Блестящая постановка в вахтанговской театральной студии сделала имя переводчика весьма популярным.

В полную меру творческое дарование М. А. Осоргина раскрылось в годы его вынужденного пребывания на Западе. Советская литература, увы, лишилась в его лице яркого и самобытного писателя. Одна за другой выходят его книги — романы, повести, сборники рассказов. Самое значительное произведение Осоргина-прозаика — роман «Сивцев Вражек» (Париж, 1928), затем переизданный и переведенный на европейские языки. А. М. Горький, вообще следивший за литературной работой М. А. Осоргина с доброжелательной заинтересованностью, находит в романе «умные и верные» слова о русском народе. Полное представление об огромном и разнообразном творческом наследии М. А. Осоргина дает специальный библиографический указатель, подготовленный и выпущенный Славянским институтом в Париже (1973).

...Мемуарная книга М. А. Осоргина «Времена» была в сущности его последним крупным произведением. Разделы «Детство» и «Юность» появились в журнале «Русские записки» (Париж, 1938, № 6, 7, 10), а «Молодость» — в «Новом журнале» (Нью-Йорк, 1942, № 1—5). Впервые отдельной книгой «Времена» вышли уже после кончины автора (Париж, 1955). По этому изданию мы и публикуем текст.

Читатели журнала по достоинству оценят художническую зоркость, внутреннюю памятьливость мемуариста в тех местах книги, где речь идет о его уральских годах. Но не менее значителен и третий раздел. Здесь сильными и резкими мазками показана вздыбленная революцией страна. Именно на эту суровую и прекрасную пору выпала молодость осоргинского поколения. Автор не скрывает о своем времени всей правды, иногда нелюбимой, как она ему представляется. Человек независимых суждений, немножко романтик и идеалист в политике, М. А. Осоргин воплотил тот нечасто встречаемый в нашей литературе тип интеллигента-демократа, в котором мучительно и сладко отозвались нестрые события семнадцатого года. Мы имеем возможность узнать о подлинных, не деформированных в угоду каким-либо конъюнктурным соображениям мыслях и чувствах очевидца противоречивых революционных событий.

Оказавшись не по своей воле на чужбине, М. А. Осоргин сердцем остался дома. Какой сыновней нежностью дышат его строки, обращенные к Родине! Истинный россиянин, он не способен привыкнуть к «разлинованному порядку» Европы. Тут он только сторонний наблюдатель. «Времена» — это вскрик потрясенной человеческой души, пронзенной болью от невозможности разделить участь своего многострадального народа...

Уральцы вправе гордиться тем, что дали отечественной культуре такого своеобразного писателя, как Михаил Андреевич Осоргин. Его возвращение к советскому читателю только начинается.

Олег ЛАСУНСКИЙ

ПРАВО НА ИСКРЕННОСТЬ

ВРЕМЕНА ДЕТСТВО



Михаил
ОСОРГИН

Рисунок
Николая Мооса



При иных закатах солнце, опускаясь, красит прощальным светом облака на западе, и этот свет бежит до крайних границ востока, а там на одну минуту распускается роза. Это — наше воспоминание о детских годах, и нужно им дорожить, оно мимолетно. Оно дается в утешение уже не имеющим будущего.

Далекое прошлое всегда — сказочная страна. Может быть, я родился в жалком городишке, о котором нечего рассказать; но я беру не палитру и кисти, а набор цветных детских карандашей и приступаю к работе. Я рисую приземистый дом в шесть окон с чердаком и с двух сторон протягиваю в линию заборы, за которыми непременно должны быть деревья, может быть, липы и тополя, но во всяком случае черемуха, дерево самого раннего цветения. Мне ее не изобразить черточками, потому что тут все дело в горьком аромате, — только недавно стаял снег, дворник сметал его с крыши, а ледяные сосульки откололись и упали сами, вкусные конфеты, от которых забнут и румянятся пальцы в варежках, а на губах остается шерстяной вкус. Для начала — для весенних дней — никаких ни ярких, ни мешанных красок не нужно, и на севере мы начинаем с белого и черного: черное пробивается сквозь белое тальми островками, а золото солнца не рисуемо и неопишуемо, его сам представь и предположи. Этим начав, мы потом сразу переходим на музыку, слушаем капели и ручейки, и как вздыхают и кряхтят снега и льдинки, и как везде и нигде гомонят птицы, обычные наши вороны, галки, и воробьи, и прилетные голоклювые любимцы Герасима Грачевника, и краснопёрые голосистые щеглыта, и скворцы, для которых на каждом дворе ставились домики на высоких шестах. Этот гомон слышно даже сквозь двойные оконные рамы, и вообще весна не дожидается, чтобы вышли на нее посмотреть, а врывается сама и в ще-

лочку, где отпала замазка, и в печную трубу, и на чердак, и бегом по лестнице в намокших валенках. Ей ждать некогда, потому что уж очень много предстоящих дел. Мать говорит: поди погуляй, да надень калоши, валенки промокнут, и по лужам не бегай — и я, конечно, по лужам не бегаю, а топчусь в ручейках, пока в ногах не захлюпает холодная вода. На другое утро черное побеждает нестойкую белизну, а на улице перед домом оттаивает и вскрывается весь навоз, накопившийся за зиму, и тогда впервые появляются путаные цвета, из которых потом мы будем выделять красное к красному, зеленое к зеленому, все на свои места, конечно, и белое оставим — и вот расцветает черемуха.

Все это, несомненно, так и было, и мне было когда-то и три, и два года, но пишет не память, а воображение, и пишет не по архивным залежам, а лишь подбирая цветные камушки отшлифованных прибором ощущений и подрисовывая их наблюдениями над другими детьми, тоже в валенках и варежках, тоже лакомками до ледяных сосулес. Вчера над французским полем я видел грачей, голоносых и черных с синим отливом, и нежность памяти перенес на них, а солнце было действительно то же самое и повернутое тем же боком. Крепко опершись на крючкова-тую палку с острым наконечником, я через грачевую сеть взглянул на дальний лесок, и тут, безо всякой связи линий и красок, вспомнил, что не могло быть у дома, в котором я родился, двух примыкавших к переднему фасаду заборов, потому что этот дом был угловым, и я родился за стеклом крайнего левого окна, так мне рассказали, и ясно вижу себя розовым комочком в пеленках, открывающим плаксивый беззубый рот. Этот дом стал вrostать в землю со всеми окошками, в том числе и с крайним, а когда врос окончательно, то на его месте выстроили дом камен-

ный, и все, и мать, и отец, и братья с сестрами, и ледяные сосульки так и остались под землей, и я это видел своими глазами, когда вернулся после десятилетнего скитанья по Европе и пожелал взглянуть на самую родную для человека точку земли, самую его настоящую родину в полметра земной поверхности. Все было чужое, и не стоило ехать тысячу верст, чтобы на это чужое смущенно и недоуменно смотреть.

Помню, однако, что улица была широка, и по самой ее середине шла огороженная низким палисадом липовая аллея, которая у нас называлась бульваром. На пересечении поперечных улиц она прерывалась, и каждый ее отрезок с обеих сторон замыкался калитками. Так она шла из конца в конец города, и это значит, что от опушки пригородного леса до соборной площади, откуда был вид на Закамье — с высокого левобережья нашей замечательной полноводной стальной реки. Если я начал с описания родного дома, в котором жил только маленьким, раньше всех возможных ясных воспоминаний, то только для того, чтобы не упустить реки и леса, моих настоящих родителей. Весь с головы до ног, с мозгом и сердцем, с бумагой и чернилами, с логикой и примитивным всебожем, со странной вечной жаждой воды и смолы и отрицанием машины, — я был и остался сыном матери — реки и отца — леса, и отречься от них уже никогда не могу и не хочу. Если отречься, то придет и заберет нянина пособница бука и защекочет в темном углу, или, по-нынешнему, зацепит железными челюстями подъемный крап, завершит лебедкой, чиркнет по небу и горизонту круглым поворотом и выбросит на людной площади, где темные каски быют с размаха обманутых и голодных людей, помочь которым я уже ничем не могу, так как утратил веру в рай из железобетона. Это страшное и досадное виденье я заслоняю любимейшими картинками, к которым возвращаюсь мыслью, куда бы ни забросила меня действительность. Нижний край зеркала реки был украшен деревянной резьбой пристаней и барок, верхний отделялся зелено-синей полосой от воздушного ничего. Мы, тутошние, рождались в просторе, ковшами пили воздух и никогда не считали себя ни царями, ни рабами природы, с которой жили в веками договоренной дружбе. Я радуюсь и горжусь, что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчетанными десятками, никогда не знавшими крепостного права, и что голубая кровь отцов окислилась во мне независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила мне во всех скитаньях остаться простым, срединным, провинциальным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием, сыном земли и братом любого двуногого. По другую сторону города, от реки вглубь, сейчас же за заставой с орлами, начинался лес, почти не рубленный и, конечно, не чищенный, так как для стройки и роста домов хватало береговых природных богатств, и еще много пригоняли славом с севера. Между столбами заставы зачиналась и дальше уходила прямой гладью в тысячеверстие, лишь поднявшись и сбежав через хребет Уральских гор, укатанная почтовой гоньбой и утоптанная арестантами нескончаемая дорога, которую мы звали Сибирским трактом. Ближний отрезок этого тракта я знал с самых ранних лет, и особенно на его четвертой версте поворот налево,

на плохую просельную дорогу, сначала в лес, потом ржаными полями, скатами, взбегами и перелесками — в деревню Загарье, где летом мы жили «на даче», а попросту в пятидымной деревушке, в крестьянской избе, нависшей над склоном, заросшим душистой клубникой. Эту деревню я помню, как зарисованную в альбоме, хотя не видел ее больше полвека; и если бы попал в нее сейчас, то никогда не узнал бы, хотя бы она не переменялась: картина памяти моей нарисована детским воображением, и взрослыми к нему поправками, моей литературной мечтой, не нуждающейся в реальном. Но не мог не быть скат к речке Егошихе, и лес за нею не мог не стоять глухой стеной, и была, конечно, поблизости от дома черная прокоптелая хибарка — баня, из которой мужики выходили красными и шатаясь от угара, — этого всего никак не придумаешь. И было еще многое, о чем непременно надо бы вспомнить и рассказать, чтобы каждый мог мне сочувствовать и втайне завидовать.

Кроме нас, никто в той местности из городских людей не жывал, — да было и негде, все избы считаны; только верстах в пяти был частный хутор (у нас не говорили имение) моей крестной матери Марьи Павловны, жившей с кухаркой и кучером, которые окружали ее заботами и лстивым поклонением, потому что считали себя ее прямыми наследниками: родных у нее на всем свете не было никого. К этому хутору от нас не было проезжей прямой дороги, а ходили, как сейчас помню, сначала через речку, потом на косогор и на Большую поляну, дальше тропинкой елового леса до межевой ямы, той самой, в которой нашли корову, высосанную беглым арестантом, еще дальше с полверсты по опушке над кручей и тут выходили на дорогу колесную, и уже можно было увидеть вдали марьяпавловнин хутор, бревенчатую избу, чисто сложенную и забитую не клочковатой, а жгутом подвернутой паклей. У Марьи Павловны был настоящий шкаф с зеркалом, были венские стулья и буфет, выше меня ростом. Сама моя крестная была крупной, громкоголосой, деспотической женщиной, в городе ее боялись, почти ни с кем, кроме нашей семьи, она не зналась, нигде не бывала, пила много кофею, кажется, была богата, откуда родом — не знаю, а по фамилии Керен, может быть, по мужу немка, но говорила она очень хорошо, помосковски. Когда я был совсем маленьким, она сказала мне, что откажет мне в своем завещании тысячу рублей, и пока дала зеленую трехрублевку, на которую я не знал, что купить. Больше я от нее ничего не получал, и умерла она как-то нечаянно, ни когда, ни почему — не помню; я в то время уже читал Достоевского.

Про арестанта, который высосал корову, рассказывали мужики. Он держал эту корову в яме три дня, даже подкармливал ее травой, а чтобы она не мычала, обвязывал ей морду гибким прутотом. И все-таки она мычала, и по мычанью ее нашли, а арестант успел убежать. Мужиков я не понимал. На то, что беглый (у нас говорили — варнак) высасывал корову, они не обижались и на ночь выставляли на крыльце чашки с кашей и вареную картошку, чтобы несчастенькие могли покормиться, не обижая ничем честных людей. И в то же время ходили в лес на облаву за варнаками и, поймав, заворачивали им лопатки и повязывали руки за спину. Может быть, так они поступали только с убийцами (полголовы брито) и с теми, кто воровал крестьянское добро. Мой

отец, когда приезжал из города на дачу, всегда мрачнел, узнав о поимке мужиками арестанта, и ворчал, что вот не своим делом они занимаются. А между тем мой отец был членом окружного суда по уголовному отделению, значит — и судил, и приговаривал. Мужикам нашей деревни низкопоклонство было неведомо, они помещиков никогда не знали, но и ласковости их не помню. В хвойных лесах ласковость не к месту, и жизнь была суровой. Зайцев ловили силками и отдавали нам почти задаром, потому что в тех краях зайцев не ели, скармливали их кошкам; заяц поганый, а зла от него много: огороды портит. Я не помню ни песен, ни хороводов, может быть, потому, что мы жили в деревне всегда в страдное время, когда крестьянину не до песни. Все были поголовно неграмотны, и когда я, пятилетний чистенький мальчик, лежал на траве с книжкой, ребята, завязив в носу палец, часами стояли поодаль. Потом, накопив червей, мы бежали на речку ловить уклеек на согнутую булавку, если только мать соглашалась пустить меня с ними. Но больше всего я проводил время в одиночестве, обедаясь клубникой на косогоре.

Был праздников праздник и торжество из торжеств, когда приезжал отец, на два-три дня, а раз в лето на две недели. Он всегда что-нибудь придумывал. С ним мы ходили в далекие прогулки, часто по лесу до самого кордона — до военного караульного поста в глубине леса, где, впрочем, никогда ни одного солдата я не видел. В этих походах с отцом я понял и полюбил лес, его тайну и его величие. Я узнал от отца, что темные орешки, которыми усыпан лес, это — заячьи покидки, и только по свежим может учуять зайца собака; но зайцев было в лесу столько, сколько в городе на главной улице прохожих людей. На елках было столько же и еще больше белок, которые прямо нам на голову сыпали шишечную шелуху. Волки летом держались далеко от людских жилых мест, медведей отец не велел мне бояться, они на человека не нападают, они очень добрые, питаются медом, ягодами, кореньями, да и не встретишь их иначе как в очень глухом лесу без дорог и тропинок. Птиц отец называл по именам, но их было так много самых разнообразных, и больших и маленьких, что запомнить я не мог, только знал, что самая большая, испугавшая меня на опушке, где от ее взлета закачалась осина, была глухарь, впрочем уже знакомый мне по оперенью, потому что в городе часто приносили глухарей с базара. Так как мой отец не был охотником и брал с собой в лес только револьвер-бульдожку и компас, то больше мы занимались растениями и цветами, собирая которых он увлекался даже больше меня. Он привозил из города кипу серой рыхлой бумаги, нарезанной большими листами, вдвое сложенными, и мы составляли гербарий. Мне было жалко, что белые весенние цветы в засушенном виде всегда желтеют: майники, ландыши, грушовки, линея, подснежник, розовая кислица, лесной анемон, прелестный сибирский княжик и тот ароматный столбик, который по местному назывался римской свечой. Мы собирали папоротники и старались в них разобраться, — кочедыжник, ужовник, стоножник, орляк, щитняк, ломкий пузырник, дербянка. Было у нас великое разнообразие мхов — и точечный, и кукушкин лен, и волнистый двурог, и мох торфяной, и царевы очи, и гипнум, и прорастающий рокет. На полянах цветов было бес-счетно, так что даже, отчаявшись собрать все, мы

вдруг равнодушно отвергивались от их красоты и яркости и отдавали все внимание только злакам — пахучему колоску, лисохвосту, трясунке, перловнику, мятлику, костеру, гребнику и сборной еже. Возвращаясь домой через речонку, я набирал на болоте букет желтых купавок, которые очень любила мать, а если попадались крупные незабудки, тамошней нашей голубизны, то и их приносил матери, у которой были голубые глаза, ко мне не перешедшие; у меня глаза отцовские.

Но самым любимым нашим спортом был грибной, и тут все свои великие знания отец передал мне целиком. Я даже в раннем детстве не понимал, как можно ошибиться и принести домой поганку! Или как ложную лисичку не отличить от настоящей, при всем их кажущемся сходстве! Одно — масляник, и совсем другое козляк. И рыжая волнушка все же не рыжик! Рыжиков мы также различали по сортам и домой приносили только самых бутылочных и булавочных, потому что рыжиками были полны наши еловые и пихтовые леса. Головы боровиков нанизывались на суровую нитку и сушились на зиму, на великий пост; белый груздь солился в кадушках, и наше дело было только набирать корзины, а остальным ведала Савельевна, наша строгая кухарка, которую мы все боялись, а мать перед ней немножко даже заискивала. Но Савельевна приезжала в деревню только ближе к осени, как раз к грибам, а всегда с нами была моя нянюшка, Евдокия Петровна, мастерица по части ягодного варенья. Она никогда не упускала случая наварить побольше клубничного, потому что в городе клубники не достанешь никогда, а если и достать бы — не тот аромат, как на нашем косогоре. А впрочем, скажу просто и решительно: нигде в мире такой клубники, как наша, я никогда не встречал, и вообще эту ягоду немногие знают и путают с другими. И в Европе полевой клубники нет, разве что в Скандинавских странах. Если мне скажут «она есть!», то я, прищурившись, ядовито спрошу: «Может быть, у вас растет и морошка?» — и человек увянет от смущенья. А я ему вдогонку: «Вы даже и до брусники не додумались, хоть и изобрели парламент!»

Сколько ни читал я воспоминаний о детстве, у всех кроткая мать и строгий, умный отец: от отца мозг, от матери сердце. Так это, вероятно, полагается. У меня тоже мать была кроткая, то есть добрая и мягкая по характеру женщина, но и в отце не было ни капли строгости, а умными были оба, и мать, хоть и институтка, была достаточно образованной и всю жизнь по-своему училась и была отцу хорошей подругой. Я не помню ни одной ссоры между родителями, ни одного не только грубого слова, но даже слова упрека или недовольства, и я не знал в детстве, что бывает и иначе. У меня были три сестры и брат — все старше меня. Не помню, наказывали ли их за что-нибудь; меня наказали один раз, не знаю, за что, но, вероятно, за что-нибудь исключительно серьезное, потому что наказание было жесточайшим: я был лишен свободы. Слезы лились в три ручья: плакала мать, плакал я и плакала моя старшая любимая сестра, которую посадили вместе со мной в чулан, чтобы мне одному не было страшно. Слезы матери я объясняю тем, что ей не могла быть свойственна жестокость, и этот опыт наказания, почему-то придуманный, может быть, вычитанный, был для нее невыносим и противен. Сестра плакала из сочув-

ствия к матери, ко мне и к себе, — ей было уже тринадцать. А я плакал или потому, что не признавал себя виновным, или же — предчувствуя, что это первое лишение свободы будет повторяться всю мою жизнь. Вряд ли мое заключение продолжалось больше пяти минут, но это все равно, впечатление о пережитом осталось навсегда; четыре стены, за которыми идет жизнь, и я из этой жизни изъят: полное бессилие и страстное желание перестать существовать; отрицание права кого бы то ни было так поступать, пусть даже матери. Кажется, я бил ногами в дверь, и сестра не смела меня сдерживать; затем ослабел и впал в отчаяние. Много лет спустя я точно так же бил ногами и кулаками в дубовую дверь Таганской тюрьмы в Москве; выбил дверную форточку и оконные стекла, — когда с тюремного двора часовой выстрелил в окно одного из заключенных. Я и теперь нередко просыпаюсь от удара кулаком в стену, когда мне снится тюрьма, а иногда, наоборот, проснувшись, добродушно смеюсь, потому что мне кажется, что таких случаев не бывает, что человека нельзя запретить против его воли, это только глупые рассказы и в действительности не существуют ни замки, ни границы, мы только шалим и подшучиваем друг над другом; в полусне я потягиваюсь, удобнее перекидываю подушку и опять засыпаю: просто — лежал как-нибудь неудобно. В университете я изучал право — государственное, уголовное, гражданское, изучал философию права (циник профессор Зверев увлекательно говорил о свободе воли), хорошо сдавал экзамены, стал адвокатом. Не будь в моем детстве чулана, я мог бы сложить для себя из всех этих книжных кирпичей сносное жилище, пробив в нем окошечко с решеткой и спокойно глядеть на мир, как смотрят многие отличные люди. Этого не случилось, и когда муха бьется в стекло, я спешу отворить окно и помочь ей вылететь; и даже если это не муха, а комар, напившийся моей крови, — все равно! Не потому, что я такой милостивец, — я, может быть, прихлопну его ладонью прежде, чем он успеет меня укусить, жизни лишу, но свободы лишит не способен: свобода в триллион раз ценнее жизни, это я раз навсегда решил и за себя и за комара! Моя мать напрасно плакала — я благоеловляю ее воспитательную ошибку, но хорошо, что она никогда ее больше не повторяла: могло случиться обратное.

Я завидую — хотя и не верю — тем, кто рассказывает о своей жизни в спокойном порядке, год за годом, как будто справляясь по календарю и регистратору, — от мягких шелковых волосиков до щетины на щеках, от детской курточки до теплого халата и от коротких штанишек до той поры, когда они постепенно доходят до пят заглаженными макаронами, и человек, теряя приятные иллюзии, вырастает в стое-росовый кантовский императив. Моя жизнь не росла ни тополем, ни подсолнухом, а ветвилась кустом спирей, начисто отмирая в старом побеге и заново вырастая от подземного корня. И потому ее картины не собраны в аккуратный альбом, а перепутаны во множестве папок, старых, новых, пыльных и обер-тых тряпчочкой. Не всегда разберусь, что пережито и что вычитано, что думал и видел мальчик — и что ему подбросил растратчик жизненного капитала. Ставлю в вазочку с водой букет нащипанных цветов и нарезанных зеленых веток, но, может быть, сирень я обломил студентом, когда влюбился в армянку, жившую на Никитской улице, а лютик сорван дет-

ской рукой, просто за то, что его лепестки блестящи и навосчены солнцем, тогда как розу сам вывел из черенка в позапрошлом году. И в детских воспоминаниях такая же, конечно, путаница, которой мало помогает чисто зрительная память (образы, образы и образы!). Сквозь голубое стеклышко этой памяти я вижу себя трех-, четырехлетним, на дворе того же дома, под ручку с девочкой-однолеткой, мы идем важно, и наши лица серьезны: первый роман. Кто-нибудь научил нас так гулять, и я ощущал это как мой долг перед слабым существом, нуждающимся в моей защите. Не игра, не забава, а предвидение трудности и сложности жизненного пути. Пока идешь прямо — все просто, но при поворотах мы топтались, сталкивались и наступали на ноги, а нельзя было терять устойчивость, и уже нельзя разделиться. Ее называли моей невестой, и я принимал это со спокойной серьезностью. Затем она вдруг исчезает из памяти, не оставив даже имени, и двор делается ареной страсти: с мальчиками мы играем в бабки. Язык, приспособленный только к домашнему, обогащается новыми словами — гнездами, битками, свинчатками, гвоздырем, — гораздо больше слов, чем знает даже мама. В начале игры мы конаемса, подкидывая бабки, и мой панок (боевая бабка) ложится жожом, конкой, плочкой, ничкой, и от этого зависит, кому начинать. Играли в поджошку, пристенок, краснокудак, игры азартные, и мне случалось проигрываться начисто и стоять, гордо сдерживая слезы, и потом, вернувшись в дом без единого гнезда, чувствовать себя глубоко несчастным. Длинной грабелькой крупье забирает золото или костяшки, одним подбрасывая, других оставляя ни с чем. Бритая и будто бы равнодушная рожа ставит кучки на номера и на дюжины, потерявшая облик крашенная дама пытается красное и черное, брошен шарик на бесшумную вертушку, и вы следите за его потерявшим всякий смысл бегом, потому что последнее поставлено и бесславно уплыло, и теперь только приходится играть в бесстрастие, чтобы затем, зевнув правдоподобнее или взглянув на часы, уйти с приличным спокойствием. Никакое небо не улыбнется, и не прольется ни золотой, ни серебряный дождь, и еще много сложностей, может быть, униженья, гадко до отвратительности, но только потому, что судьба против вас, а сама страсть жива, свернулась комочком и рада в любую минуту снова расцвести и увлечь. Мать не догадывалась о моих переживаниях, иначе ее обьял бы ужас; а я подкапывал для предстоящей писательской жизни понятие о взлетах, падениях, о страсти и катастрофе, о чете и нечете, о пресности маленьких и ровных мешанских благополучий. Нужно было прожить сто тысяч чертовских русских лет, какие прожило одним духом мое поколение, чтобы усомниться даже в игре, даже к ней стать равнодушным, хотя все же менее, чем ко всему другому. Но и теперь, если бы сумасшедший мир попросил меня устроить, наконец, его судьбу, как мне кажется лучшим, — я бы предложил ему сыграть в орла и решетку: по крайней мере, разом!

Но, может быть, игорная страсть была у меня в крови. В какие времена, в какие исторические периоды Русь, Россия и СССР не горели игорной страстью; в кости и в зернь при Грозном, в фараон при Екатерине, в банк при Александрах, в железку по обе стороны гражданского фронта в 18—20 годах, в шахматы и ныне и присно? Дома у нас по воскре-

сеням играли в херсонский вист, в преферанс и классический винт: отец, мать, Марья Павловна и барон Зальца, председатель суда, огромный человек, куривший сигары. Мать играла осторожно, отец безнадежно, Зальца плохо, Марья Павловна всегда на выигрыш, и потому вечно бранилась. По углам ломберного стола стояли подсвечники, пепельницы, лежали очиненные мелки, а после робега зеленое сукно вытиралось тряпочкой, намоченной в водке. Брат играл с сестрами в короли, нянька учила меня играть в зеваки. Если мать ремизилась, что случилось очень редко, то весь стол пел: «Вот опять угобжена — Андрей Федрыча жена!», а когда у Зальца на руках предвиделся шлем, его лицо так наливалось кровью, что не требовалось и заявки. Играли с двенадцати часов дня, в четыре обедали (гусь всегда с яблоками, а индюшка с брусничным вареньем), а кончали к десяти вечера, когда детям пора было спать. Играли на малые копейки, вкладывали в игру страсть на миллионы. Играли во всем городе, в каждом доме, и в редкой квартире сквозь опущенные гардины не сквозили две свечи. В кухне Савельевна играла с дворником в подкидные дурачки и в акулку. Не было в те времена ни радио, ни кино, ни публичных лекций о путях России; сейчас все это есть — и играют в бридж, презренное искажение старого благородного винта. Разница одна: в те времена не возводили отличной карточной забавы в науку и не писали о ней умных книг, а пики ласково называли пикандряшками.

В лице этих ближайших друзей и партнеров моих родителей вторгался в наш домик внешний мир; сверх того он появлялся под личиной портнихи, прачки, сапожника (готовой обуви не носили, да и была ли она?), почтальона и доктора Виноградова, который приглашался только в серьезных случаях, а обычные болезни мать лечила липовым цветом, клюквенным морсом, спермацетной мазью, паутиной, касторкой и каплями Иноземцева, справляясь в домашнем лечебнике. И были еще два явления, отражавшие для меня загадочность внешнего мира: водовоз и судебный курьер.

Водовоз был настоящим и изумительным зимой: летом мало замечался. В большие холода (а они доходили у нас до сорока градусов) в ворота въезжала обледенелая лошадевка, тащившая на обледенелых санях такую же бочку, а сбоку шла совершенно твердая, такая же ледяная не вполне человеческая фигура в тулупе, который от сильного удара должен бы разлететься со звоном на куски; но ноги и руки у человека почему-то продолжали двигаться. Его голова была обвязана тряпками поверх шапки, весь мех которой, как и борода человека и его усы, превратился в белого ежа, распопырившего колючие сосульки. Навстречу ему, тоже обвязанная, но мягким, выходила с ведром Савельевна, и тогда ледяной дед, не сгибаясь, влезал на сани и стеклянным огромным ковшом, не имевшим никакой формы, вычерпывал из верхнего стеклянного отверстия бочки густую воду со льдинками и звонко лил ее в принесенное Савельевной ведро, а она, одной рукой подобрав юбки, другую с ведром отставив крутой дугой, шершавила валенками по снегу к сеням, где стояла кадка для воды. Я, укутанный башлыком так, что только для глаз оставалась мохнатая белая щелочка, смотрел через эту щелочку на водовоза, и он вместе с бочкой и с лошадей казался мне единым целым, отлитым

изо льда, так что было необъяснимо, как он может шевелиться. И еще смотрел на черные глаза лошади, тоже окруженные иголками, и на ее седую бороду, окатываемую двумя струями пара, выходящего из ноздрей. Между лошадей и человеком разница была только в том, что лошадь стояла на четырех ногах, и у нее был хвост, облитый выплесками воды и похожий на расколотое березовое полено. Как ни был величествен водовоз, но никогда в обычных детских думках я не мечтал стать таким же; иное дело — судебный курьер, ежедневно приносивший отцу бумагу.

У курьера были светлые пуговицы и фуражка с цветным околышем. Он представлялся мне исключительно изящным человеком и очень важным. На кухне он не стоял, а садился и громко разговаривал с Савельевной, которая тоже его уважала. Няня здоровалась с ним за руку и звала его по имени и отчеству. Я спрашивал мать, почему курьер не приходит по воскресеньям играть в карты; она ответила как-то уклончиво и недостаточно понятно. Я знал, что мой отец, барон Зальца и курьер, — это и называется судом, где делают арестантов. Но окончательно меня завоевал курьер в день моего рождения, когда он доказал свою способность летать по воздуху. Отец меня любил и баловал — самого маленького из детей. К именинам, к рождению, на рождественскую елку я получал от него самые замечательные подарки, всегда те самые, о которых мечтал и проговаривался. Однажды перед моим рождением отец уехал на «сессию», куда-то в уезд кого-то судить; так бывало раза два в год, и его отсутствие продолжалось недолго, так как поездки были дальними, на лошадях по огромной нашей губернии. И хотя я не был корыстным, все же день рождения без отца терял большую долю приятности. И вот, помню, в самый день утром, часов в девять, меня вызвала Савельевна в кухню, где оказался отцовский курьер, вручивший мне большой пакет, будто бы только что привезенный им от моего отца. В пакете были подарки: альбом для рисования, краски, цветные карандаши. Было приятно, хотя я в этот раз больше мечтал о коньках и лобзике для выпиливания. Ровно через час опять пришел курьер с новым подарком от отца: это был лобзик, к нему пилики, дрель и тонкая ольховая доска. И это опять послал отец из своей сессии. Еще через час у меня был молоток, стамеска, буравчик, подпилочек и отвертки, все нашитое на картонном листе, и каждый раз курьер говорил, что «папенька кланяются и спрашивают, понравился ли подарок». Подарки мне очень понравились, но я не понимал, как же это так курьер все время ездит к отцу и обратно, а говорили, что это очень далеко, двое суток езды на санях. Я его об этом спросил, и он мне подтвердил, что на санях действительно суток двое, не меньше, но что он летает на крыльях прямым путем без объезда, как ворона, туда-обратно без минуты за час. И действительно, еще через час он привез мне деревянные коньки с острой железной полоской, такие, что можно их подвязывать под валенки и кататься хочешь — по льду, а то и по снегу. Мать слов курьера не подтвердила — она никогда меня не обманывала, — но посоветовала мне спросить папу, когда он придет, как он присылал мне подарки. В этот день мои руки были изрезаны, истыканы, провинчены и распилены, из большого пальца, особенно сильно пострадавшего, была сделана белая

куколка, и катанье на коньках было отложено до завтра.

Не помню, была ли у меня игрушечная лошадь, вероятно, была. К сожалению, были оловянные солдатки, — гнусная игра, развращающая детское сознание; с тем же успехом можно дарить виселицы и гильотинки. Но ничто не убожало меня так, как плотничество, столярничество, выпиливание, — всегда под отцовским руководством; он же приучал меня к уходу за растениями, и, при тамошних морозах, у нас был дома устроен «зимний сад», большая комната в два света, в ней пальмы, фикусы, лимоны, кактусы, много цветущих растений. Что привито в детстве, то остается на всю жизнь, и я не очень затруднился бы стать Робинзоном: ничего, по-моему, кроме удовольствия!

Я научился читать пяти лет, и в семь сам прочитал изумительнейшую книжку «Робинзон в русском лесу»; автора не помню, но лучшей детской книжки не было никогда написано. Она меня завоевала и заполнила целиком мое детское сознание. Все это, конечно, хорошо, все эти благородные английские мальчики, лорды Фонтлерон, принцы и нищие, хижины дяди Тома, особенно твэновские Томы Сойеры и Гекльберри Финны, увлекательно, забавно, полезно, но все это появилось потом и было выдумкой, тогда как русский Робинзон со своим приятелем жил в лесу где-нибудь поблизости от нашего города или от деревни Загарья, а уж если по совести говорить, то это был я сам, хотя и до слез было жаль расстаться с матерью, отцом, няней, Савельевной, курьером и водовозом. Это я выстроил хижину и частокот от волков, и я сеял рожь, собирал и сушил грибы и делал зарубки в лесу на деревьях, отыскивая путь к жилым местам, хотя мне совсем не хотелось возвращаться домой. Какая красота в этом сожительстве с лесом, какое счастье делать все своими руками, быть полновластным хозяином неизвестного мира, смело противостоять опасностям, создавать все из ничего! И когда мальчики выбрались из леса, где прожили, кажется, несколько лет, я им не завидовал: я бы предпочел там остаться навсегда. Я и сейчас отдал бы в обмен на их хибарку и их затерянность — пять частей света и в придачу библиотеку стариннейших книг, но с условием, чтобы никогда над моей головой не пролетал аэроплан и чтобы не проник в мою медвежью глушь даже обрывок газеты. И я, конечно, не возьму с собой мирового сыщика и сплетника — радиоаппарата. Лишь одно неперемное условие — моему Робинзону необходим русский северный лес, со снегом, медведем и рыжиками.

Одна из моих временных хижин помещалась под отцовским письменным столом, но это было раньше, чем я прочитал замечательную книжку. Стол был приставлен к стене, так что получалось убежище крытое и очень удобное. Ноги отца мне несколько не мешали, и мои, вероятно, мешали ему гораздо больше. Ковер был мягким сиденьем, корзина с сорной бумагой — предметом жилой обстановки, а никаких дел и развлечений не требовалось: я просто мечтал. О чем? Дети мечтают иначе, чем взрослые. В их мечтах нет определенных, ясно обрисованных желаний, они не облачают их в единый образ будущих ощущений. Мечта ребенка — сложное из отзвуков пережитого его предками и дальних предчувствий будущего, она нереальна и по преимуществу музыкальна, слагаясь из шорохов, голосов, дыхания,

донесшегося лая собаки, звякнувшего блюдечка в столовой, — все это ловится ухом и рождает гармонию и образы. Мы свои мысли думаем и придумываем, — ребенок свои допускает и видит, сам им ничем не помогая. Большой письменный стол отца превращается в пещеру, размытую в скале вытекавшей из нее подземной речкой, и волосатый человек вползал в нее осторожно, не задев отцовской ноги и опасаясь натолкнуться на пещерного медведя, здесь он доглядывал вчерашнюю кость убитого камнем утконоса и при первом извне донесшемся шорохе заползал вглубь, в шотьях пробираясь по руслу речки до каменного уступа, кончавшегося площадкой. Осколком сталактита он рисовал на стене изображение самого страшного зверя, и это было для него необыкновенно важным искусством, а не поисками бога, как объяснит потом его убудочный потомок. Журчанье реки было для него чудом музыки и сливалось с его сонным храпом. Исчезнув в прошлом, он переносился в будущее, над его головой шуршали страницы отцовских деловых писаний, от сорной корзины пахло окурками высыпанной в нее пепельницы. Стараясь не глядеть на подсудимого, свидетели хмуро утверждали, что слышали угрозы и видели, как парень шатался вокруг деревни, а тетка слышала и крик убиваемого, и когда присяжные, недолго посоветовавшись, представили свое заключение, арестанта увели обратно под свод тюремной камеры. Потом, миновав заставу с орлами, он шел в кандалах по широкому тракту, и по обе стороны стенами стоял хвойный лес. Наклонившись, отец спросил: «Ты что там делаешь, Мышка?» — но Мышка не отвечал. Сильно хлопнула дверь, шаги умолкли, лампочка, заключенная в клетку, еще качалась под потолком над койкой, хлопанье дверей в камерах все отдалялось, и Марк Твен, поля которого были исписаны карандашом, рассказал любознательному газетчику, что у него был брат-близнец, и их обоих купали в ванне, и один из них утонул, так что до сих пор неизвестно, который именно, он или его брат. Чиркнула спичка, осветив уголок пещеры, и ее своды раздвинулись, а наверху, в проломе базилики Константина, на римском форуме, заголубело небо. Я сидел на камне и слушал звуки города; в этот час на форуме туристов не бывает, они обедают по отелям, и это — лучший час для созерцаний и ухода в себя. Но сильно затекла согнутая нога, пришлось протянуть ее по ковру, а рука отца нащупала мою голову и потрепала за хохолок на затылке, который никакой помадой не примазывался. В Августеуме, тогда еще не перестроенном, Сафонов без дирижерской палочки, пальцами и кулаками, управлял оркестром, который играл симфонию Чайковского, и я страдал, что слушаю ее в чужой стране. Когда же закрыл глаза, о борт парохода, шедшего с потушенными огнями, стали ударяться волны монотонной восточной музыкой, хотя мы шли к берегам Норвегии. Потом была крыша также мерно стучавшего поезда, и это длится очень долго, мелькает много границ, пока, свернув из улицы в улицу, я не оказываюсь перед низеньким домом с мезонином и шестью окнами. Я прижимаю к стеклу нос, он сплюсчивается, и я вижу в комнате стол, за столом сидит и пишет человек с небольшой бородой. В комнате облака дыма от папиросы, тихо и уютно, и я опять вползаю на четвереньках и устраиваюсь под столом на излюбленном местечке, под защитой больших ног в спальнях туфлях, чтобы об-

думать впечатления поездки по многим странам, о которых никогда не слыхал, так как я очень маленький и мне предстоит пережить и отца, и мать, разливающую чай, и этот дом, и этот город, и эту страну, и даже эти строки. Тогда я поворачиваю валик пишущей машинки, вынимаю испанскую страницу, присоединяю ее к накопившейся стопочке и, встав, с утомленным удивлением смотрю на полки книг, на громоздкие словари, на свои большие руки и на дверь, в которую я выйду, и тогда все исчезнет. Что-то я позабыл или что-то было упущено. Да, это — когда Марк Твен показал журналисту висевший на стене портрет мальчика, может быть, его собственный, может быть, его брата, и сказал: «Бедный Вилли!»

Другой конец улицы, как я сказал, уходил к соборной площади на крутом берегу Камы. С этой рекой в моей памяти связано лучшее, что в жизни было, хотя та вода ушла в море и возвратиться не может. В половодье она на много верст заливала дали, и по торчавшим из воды верхушкам деревьев можно было идти до горизонта. Люди, дома, плоты становились маленькими и бессильными, случайным мусором, не попавшим в течение, а на небе не хотел остановиться ледоход облаков. Показав свое величие и свои возможности, вода начинала медленно сбывать, возвращаясь к берега, и на ней появлялись пароходы и лодки, на нашем берегу закипала жизнь для всех, кроме тех, кого привозили на тюремных баржах, выгружали на берег серыми стадами и выстраивали в поход — в сибирскую каторгу и ссылку. Их собирали по всей России, не согласных быть такими, как все, и не нарушать тысячи статей и параграфов, записанных в толстых книгах отцовской библиотеки. Из этих книг я делал иногда железную дорожку, раскладывая их в ряд по полу, из комнаты в комнату длинной полосой, и шагая по переплетам так, чтобы ни одного не пропустить. В молодости мой отец был деятельным участником судебных реформ, и в жестяной коробке, где лежали его прокурорские мундштуки и трубки, старые перочинные ножки, куски столярного клея, цепочки, кремни, отбившаяся от стада костяная шахматная королева, компас, лупа, шампанская пробка, медные гвоздики и еще много прекрасных вещей, можно было отыскать и два наградных креста с какими-то датами шестидесятых годов, и их он держал в футлярах и берег, тогда как его Анны и Станиславы валялись в общей куче забавных и ненужных предметов. Он никогда не носил никаких орденов и называл их коровьими колокольчиками. Он был чиновником в провинции, потому что был отцом пятерых детей. У него было имение, которое он отдал старой матери и сестрам. По своим общественным взглядам он остался шестидесятиником-либералом, и в дни Александра Третьего это пресекало карьеру. Он всю жизнь рвался к земле, но не как к реальному, а как мы, нынешние, рвемся к возврату на родину, которая тем милее, чем недоступнее. То, что он рассказывал мне, маленькому мальчику, о наших уфимских землях, о степях, о Бугуруслане, о рыбной ловле, о перелете птиц, я даже не всегда и не целиком понимал, и понял только взрослым, — понял, что отец рассказывал это самому себе, будоража свои воспоминания и свою любовь к родине ему с детства природе. Когда я стал хорошо читать — но еще до гимназии, — он подарил мне сочинения Аксакова, и сейчас моего любимого писателя, пред русским языком которого

я благоговее. Это были мои первые настоящие большие книги — на смену «Робинзону в русском лесу». С Аксаковым мы были в родстве, и это, конечно, повышало мой интерес к Багрову внуку. И хотя я был сыном великой Камы, но с детства равнял с нею в святости имена Демы и Бугуруслана, конечно — не сравнимых с ее величием. Дему я увидал в тот год, когда отец, выполнив свою мечту (а ведь все это было так трудно!), поехал на родину первый раз после многолетнего отсутствия и взял с собой меня. Мне хочется рассказать об этом дальше — сейчас мысль связана Камой.

Тут между нами может начаться взаимное непонимание, потому что я не могу представить себе большую реку иначе, как живым существом не нашего, чудесного измерения, пожалуй — как божеством. Тут и впечатления детства, и позднейшая тоска по сладким водам, и конечно, самовзвинчивание: вместо простой беседы — пенье. Но я готов идти даже на насмешку — а любви не изменю. И вот Кама для меня как бы мать моего мира, и уж от нее все пошло, и реки меньше и почва, на которой я стою. Я допускаю, конечно, что существуют реки еще больше великие, — как существуют у других семей свои предки, таковы сибирские реки для сибиряков. И это мои ближайшие родственники и мои единомышленники. И мое семя вычерпано с илом со дна реки Камы, и потому я северянин, блондин, всебожник, поэт, анархист и старовер. У нас, людей речных, иначе видят духовные очи; для других река — поверхность и линии берегов, а мы свою реку видим и вдаль, и вширь, и непременно вглубь, с илистым дном, с песком отмелей, с водорослями, раками, рыбами, тайной подводной жизни, с волной и гладью, прозрачностью и мутью, с облаками и их отраженьем, с плывущими плотами и судами, и с накипью и шепочками, прибитыми к берегу. Воду, которую мы отпили и в которой до локтя мочили руку, перегнувшись за борт лодки, — мы эту воду потом пьем всю жизнь, куда бы нас судьба не забросила, и подливаем ее для цвета, вкуса и сравнения и в море, и в горное озеро Неми близ Рима, и в священный Иордан, и в Миссисипи, и в светлый ручей, и в Тихий океан, и в Рейн, и в каждую европейскую лужу, если в ней отражается солнце. Это очень трудно объяснить, и еще труднее понять, если иной человек сотворен иначе и водою не крещен. Ведь вот, все живое вышло из океана, мы это знаем, а многие ли это могут почувствовать? Моя мистика связана с моей рекой, и потому я не могу просто рассказать, что вот таковой она, река, была для меня в детстве, а потом я купался в других водах, и вот остались воспоминания, — это все не то, тут ни при чем и возраст, и прожитая жизнь, и я сейчас покачиваюсь в душегубке на мертвой зыби, и в борта лодки хлопают камские струи, а небо надо мной — шатер моей зыбки, и я, уже старый, все еще пребываю в материнском лоне, упрямый язычник, и плыву и буду так плыть до самой моей, может быть, и несуществующей смерти. В этом чудесном слиянии со стихией я слышу все, что происходит в воде: веселый визг стрелками мелькающих уклеек, тяжелый храп столетней щуки, шелканье клешней темно-зеленого рака, хохот резвящихся пескарей, пересыпанье песчинок, а надо мной, в высоте, степенный разговор кучевых облаков, караваном возвращающихся из ночной подзвездной прогулки. У моей лодочки было свое название, я сам ее красил и смолил, она ничего

не боялась: ни пароходных валов, ни пребывания над бездной, ни окрика с надвинувшихся плотов, ни потери весел, — потому что это я сам бросил их за борт, чтобы, испытывая судьбу, подгрести к ним голыми руками, а в стальной воде мелькнул кольцом огромный угорь, похожий на змею. Верстами тремя выше по течению был дикий островок, на нем кустарник и много птиц, и в девять лет я мечтал о том же, о чем мечтаю сейчас, — о жизни без тени несвободы, об оазисе без прав и обязательств, о такой точке земли, где солнце заменяет часы и достаточно одного своего голоса. Вытащив на отмель легкую лодочку, я насквозь пронизывался счастьем Робинзона и шел заново исследовать свой мир, хотя знал его достаточно. На острове всегда было прохладно, даже в самый жаркий день, и было жутко до сладости, без города, без людей, без моста в прежнее, по которому можно было бы вернуться бегом под отчий кров, — от жилого меня отделяли речные бездны. Я приплывал сюда ради этой жути, которую нужно было преодолеть, глядя на жизнь незнакомых с нею птиц, купавшихся в нагретом песке. И когда я возвращался к оставленной лодке, чтобы плыть обратно, это было все равно что в горах подойти к самому краю пропасти, заглянуть в нее, потом зажмуриться и склониться над бездной. Столкнув лодку в воду, я не успевал лечь на дно, как прибрежные кусты уже прощально убежали, а птицы становились маленькими точками. Лежа навзничь, я плыл теперь по небу на самолете, — еще не было тогда никаких самолетов, кроме рассказанных в сказках. И я снижался только тогда, когда доходил до ушей шум города или стук пароходных колес. Вдруг став благоразумным мальчиком, я сел за весла и с середины нашей огромной реки, как с холма, скатывался к населенному и деловитому городскому берегу.

Продернув цепь в кольцо и защелкнув всякий замок, я чувствовал большую усталость — от солнца, от ослепления водой, от впечатлений. Дорога на крутой берег. Первые шаги просты — как детство; круча начиналась дальше и, чтобы не идти в обход, по дороге, я взбирался по тропинке, вытопанной на подъеме ногами молодых. В глазах бельмами прыгали блестящие воды, ладони щемило от весел. На самом верху ждала навозная пыль набережной, — вот мы после сказок вступаем в самую обыкновенную, рассказанную и затасканную жизнь. Здесь она несложна, но будет утомительнее в других городах и свяжется с ними в путаные узлы, будут знакомые и незнакомые улицы, люди разных одежд и языков, новые реки и притоки рек, остатки истории, заваленные новыми наслоениями событий, огненным вихрем будет сметать людей, и все это совершенно не нужно. В объезд крутизны тянется обоз ломовиков, увозя с пристаней чайные цибики, свертки рогож, ящички с надписью «верх», «осторожно»; мостовая бульжная, балаганы с золотой воблой, мылом, лаптями, сухарным квасом и кислыми шами; и есть и будут еще портовые набережные с вереницей кабачков, шатающимися матросами, афишами на чужих языках, гудящей толпой, запахом моря и пота, чередуются города севера и юга, белая и черная кожа, светлые и темные глаза, блеск магазинов, вывески банков, театры, человеческая икра в колясочках, газетные киоски, гарь войны, груды и завалы ничем не оправдываемых человеческих страданий, камерная музыка,

деланная улыбка знаменитостей, сутолока быта, проповеди, международные выставки, — все это впереди, но без всякой передышки, сейчас же за поворотом улицы провинциального русского города, спящего в передней культуры, пыльного, играющего в преферанс и винт с прикупкой и гвоздем. Ради всего этого неразумный мальчик расстался с лоном полноводной родной реки, с островком своих настоящих владений, с обществом птиц и чистейшим золотом незапыленного солнца. Дорога домой идет мимо почты, через тополевы театральный сад, минуя гимназию, которая уже в будущем году начнет свою дубильную работу: выколоти детское чувство, вобьет на смену латынь, таблицу умножения, растлит обрывками ученой лжи и пустит по миру нравственным нищим, рабом в колпаке царя природы. Ближайшей осенью я на приемном экзамене не сделаю в диктовке ни одной ошибки, и учитель русского языка, дохнув табаком и водкой, скажет: «молодец, будешь писателем!» — кони взвоятся, и колесница жизни помчится по ухабам, пока не окажется, что это были только розвальни, влекомые каравоной клячей. Сразу из трех великих стихий — земли, воды и воздуха — в неверие серого и наскучившего быта. И вычеркнув написанное наудачу будущее, опаленный солнцем, с порванными коленками, я возвращаюсь домой, и мать облегченно вздыхает: «Боюсь я этих твоих каганий!» Я говорю: «Знаешь, мама, я видел в воде огромного угря, совсем, как змея!» И она ласково старается пригладить мой непокорный вихор. Скоро из суда вернется отец. Как хорошо, что всего остального еще не было!

Самое главное в моем детстве — мой первый дальний выезд, не пытаюсь объяснить, почему в нем нет нужной отчетливости. Мне кажется, что мы дважды были с отцом в Уфе, на протяжении двух-трех лет; но иногда память уверяет меня, что он умер в первую поездку, едва увидав свой родной город. Все равно: он не повез меня в наше имение, о котором много мне рассказывал. И тогда, и теперь в моем представлении все эти любимые отцовские места стали картинами из детских лет Багрова внука, знакомыми мне до мелочей. Каждый сам создает свой рай, и мой был создан в полном согласии со странницами Аксакова, — но с прибавкой и своего, ранее облюбованного и возведенного в святость. В Каму влилась Белая, в Белую — Дема, а к елям, пихтам и прозрачной аскетической лиственнице прибавились необычайно могучие буки и вязы оренбургского и уфимского края. Я так вчитался в «Семейную хронику», что не всегда мог сказать, что случилось со мной и что с тем мальчиком, родившимся при Екатерине, который лишь на 65-м году жизни стал писателем и день за днем записал впечатления раннего детства. Мой отец казался мне милым добряком, женатым на блестящей уфимской красавице, молчаливо страдавшей в степной глуши и давшей мне жизнь. С ними, я еще ни разу не побывав дальше деревни Загарья, уже давно мысленно совершил все дальние поездки, из симбирской вотчины в угодыя и приволья башкирцев Уфимского наместничества, из Казани в новое Багрово, с переправой на «посуде» через Каму повыше Шурана, лошадьми на Татарский Байтуган. Я помнил имена местечек, где такой же, как я, мальчик гуливал или уживал рыбу, — Антошкины мостки, Малую и Большую Урему, Потаенный

Колок и Кивацкий пруд, и когда я действительно увидел Уфу и закинул удочку в воды Демы,— все это было мне давно знакомым и родным, и я не удивился, когда отец повез меня показать своим родственникам, и их фамилии оказались хорошо мне известными по аксаковской книге. Мне особенно было приятно и приятно, когда погладили меня по голове старики Нагаткины, потомки тех, которые с такой лаской отнеслись ко всеми затравленной матери Багрова внука, но мне они, конечно, казались теми самыми, все еще живыми и по-прежнему добрыми, а когда я вел под ручку к столу крошечную сгорбленную старостью мою родную бабушку, родом Осоргину, фамилия которой позже присоединилась к моей родовой, я помнил, на каких страницах любимой книги встречалась мне эта фамилия, как и фамилия моего отца.

По Каме мы плыли ранней весной, когда с двух берегов доносились соловьиные хоры, но и в хоре каждый соловей пел свое и для себя. В Пьяном Бору, где пересадка на Белую, пробыли сутки на пристани, ожидая бельский пароход. Здесь опять, как «тот мальчик», я с увлечением ловил рыбу, бросавшуюся целой толпой на едва задевшую поверхность воды наживку, передо мной на много верст расстилась гладь изумительной Камы, а на крутом берегу гудел бор. На реке Белой даже в эту пору были песчаные перекаты, и, пока облегчали и перетаскивали пароход, мы с отцом проходили целые версты берегом, где я десятком детских объятий вымерял толщину древесных стволов,— у нас, в лесах хвойных, таких гигантов не было. В Уфе нас ждала цветущая сирень, которую был напоен воздух по течению реки. Отец был счастлив и показывал мне, потерявшемуся от новых впечатлений, все, что он любил и знал, и теперь все это я также любил по-настоящему, а не только по книжке. Но все-таки в детском моем сознании так спутались картины этого первого путешествия, что я вижу себя только урывками, не отдавая себе полного отчета, в какой приезд я видел это и этих и в какой-то и тех. Мелькнул и исчез старый дом моей бабушки, где мы, вероятно, жили, и на смену ему вырос дом новый, где жили семьи моих теток и где отец, простудившийся еще в дороге, скончался так внезапно, что вызванная телеграммой моя мать прямо с парохода проехала на кладбище. Тут в страницы моей жизни впутываются черные, невнятные строки, сначала шепот и хождение на цыпочках, потом в большой комнате постель, около которой я сижу на стуле с книгой, не зная о важности подошедшей минуты, потом кто-то говорит мне на ухо: «Оставь книгу, посмотри!» — и мои глаза встречаются с глазами отца, с последним, что в нем осталось живого, и дальше память моя опять теряется в мути и кошмаре тех дней. Я просыпаюсь и вижу, как на постели, уже пустой и накрытой одеялом, вдруг приподымается и садится белая фигура, я кричу от страха, и из соседней комнаты вбегает моя кузина,— постель снова пуста, а из отворенной двери доносится монотонное чтение. Я опять засыпаю, и на утро комнаты наполняются людьми, мне незнакомыми, много людей на обширном дворе, и каждый человек подходит ко мне, гладит по голове или что-то говорит, и я знаю, что это потому, что умер мой отец, но мое горе и страх мой подавлены торжественностью, так что я уже не мальчик, а взрослый человек, центр общего внимания, и это заставляет меня держаться

с некоторой важностью. Подходит ко мне седой строгий человек, подает мне руку и говорит, что он знал моего покойного отца еще маленьким, как вот я сейчас, и что если моя мать и сам я согласимся (он говорит со мной на «вы»), то он готов быть мне отцом, дедом и опекуном. Я расшаркаюсь, как меня учили, и мне кажется, что все это из книжки, во всяком случае, не совсем настоящее, как и все, что кругом происходит. Того же странного старого человека я вижу позже в разговоре с моей матерью; она не может удержаться слез и только отрицательно качает головой, а он тихо ее убеждает и смотрит очень добрыми глазами. Потом мать обнимает меня и громко спрашивает: «Разве ты хотел бы расстаться со мной? Ты хотел бы быть богатым?» Я рыдаю, жмусь к матери и ненавижу доброго человека и в то же время продолжаю думать, что это из книги, которую я читал, но не помню, из какой, и тогда старик почтительно целует матери руку и уходит. Все это обрывки памяти, которая проясняется только с тех дней, когда я оказываюсь в кругу множества моих кузин и кузенов, молодых и веселых, школьников и студентов, гораздо старше меня и все-таки моих близких друзей. Мать уехала, оставив меня в Уфе до конца лета. Я кажусь себе гораздо более взрослым, и моя летняя жизнь проходит между чтением и веселыми прогулками пешком и на лодках. И вот тут с необычайной ясностью я вижу огромный костер на берегу реки Демы — ночь, огненные дуги бросаемых с берега в темную воду голышечек, хоровое пение, смех и прекрасное лицо кузины Манечки, в которую я откровенно влюблен и от которой не отхожу ни на шаг. У нее голубые глаза и прекрасные каштановые шелковые волосы. И вообще я счастлив.

Такой то жуткой, то сладкой и радостной мути и яви полны мои уфимские воспоминания, в которых я никогда не разберусь, да и не хочу разбираться. Полудействительные, они вразброд, цветными пятнами, развешаны в картинной галерее, куда я иногда убегаю от ясных и разлинованных, аккуратных записей взрослой жизни. Они — как цветные шарики, подбрасываемые опытной рукой и мелькающие в воздухе скрещением забавных дуг, как переводные картинки, наляпанные в детском альбоме по системе понятной только собственнику. Я не люблю калейдоскопа: в нем стеклышки располагаются с обязательством строгой симметрии; много приятнее коробка с разнообразными по величине и окраске, по ободкам, по количеству дырок — пуговицами, костяными и перламутровыми, железными и обтянутыми материей, пухлым шариком и сплюсненной монеткой; каждая пуговица — часть портрета того, на чьей одежде она была или будет пришита. Река Белая — действительно белая, хотя и течет в зеленых берегах. А на Деме, в самом устье, летом застревают в песке и тине огромные коряги; в лунную ночь мы высаживались на них с лодки и располагались в живописных группах — по шесть-семь человек на одной коряге. Отмахнув рукой эту ночную живопись, я в узкой и черной лодке с уютным балдахином подвезжаю беззвучно к разукрашенной цветными фонариками небольшой барке, в центре которой стоит пианино, и между пьядеттой и островом св. Георгия слушаю затасканную, но в этой обстановке всегда свежую серенадину, пока гондольер вертит свою сигаретку; потом мы отплываем от слишком сладких звуков в глубины и ответвления большого венецианского ка-

нала, потому что сегодня хочется чувствовать себя беззаботными туристами. Поезд пролетает над блюдами и глубокими чашками норвежских сладких вод, и горный поток сталкивает в них завернутые в кружевную пену стволы строевого леса — трубочки со сливками в воде червленной стали. По лесному озеру в верховьях Камы мы стараемся не плескаться громко веслами лодки, а за нами тянется крепкая бичева с оловянной ложкой, к которой припаян стальной крючок, и схватившая его непуганая рыба дергает с такой силой, что лодка вздрагивает от удара. Последними взмахами покрасневших от холодной натуги рук мы кидаем тело к скалистому берегу, к знакомому уступу, который то выныривает, то скрывается под водой, и если удалось схватиться, прибор уже не сбросит, обратно в волны, а и сбросит — не беда, только понадобится еще усилия в игре голубыми водами Средиземного моря, ставшего приветливым после стольких лет знакомства. И вот, отфыркиваясь и стараясь откинуть налипшие на глаза волосы, я карабкаюсь на бережок узкой, но глубокой реченки в Звенигородском уезде, таща пойманную шуку за леску, которую пришлось отцепить от путаницы корней на самом дне, — а ради этого как не броситься в воду уже взрослому человеку во всем рыболовном наряде, дорожка минуют и добычей. Это не я швыряюсь — это жизнь швыряется картинами, навороченными ею, чтобы не о чем было жалеть, когда часы начнут бить полночь и склонится фитиль оплывшей свечи. Он всегда со мной, альбом памяти, образов и выдумок. В окно его первого прочного листа вставлен дагерротип на серебряной пластинке, но я не могу разобрать черт лица и не помню, кто на нем изображен. Дальше прозрачной бумагой заклеен карандашный портрет деда по отцу, бритого, в татарской ермолке, халате и с длинным чубуком, — может быть, потому я и люблю татар, что считал татаринном своего деда, хотя он был стариннейшего русского рода, гораздо более старого, чем бабушкин. Еще дальше — ряд выцветших фотографий, много раз показанных мне в детстве с непременным повторением: «Это папа, а это папа с мамой, а это мамин папа и мама». На пластинке слоновой кости изображена красками девочка с перетянутой талией, и тот же самый портрет я вижу на обложке книги, изданной о «вещах человека» и написанной там же и той же рукой, которая пишет сейчас эти строки. Постепенно свежее бумага фотографий, и лица становятся яснее, кринолины сменяются турнирами и плечевыми буфами, мужские галстуки бантом — вытягиваются и прячут концы за вырез жилета, появляются мундирчики школьников и фартушки гимназисток, попадают чаще люди в очках и пенсне, снятые не в рост, как старались сниматься прежде, а лишь по пояс, и далекое прошлое через вчерашнее делается близким и настоящим. И по мере того как я листаю альбом (или десять, или сто альбомов), мне делается дороже прошлое, в котором так путаются лица и так много глубоких провалов, — через безупречные отметины настоящего, рассеявшегося баринном на примятых и намученных плечах. Я перевожу стрелку часов на вчерашний полдень, думая этим обмануть время. Я перестал любить жизнь, — это звучит трагически и актерски, но я действительно перестал ее любить, и причин слишком много, чтобы их перечислять; главная из них — необратимость детских моих воспоминаний к имеющим уши слышать: двери на

засове и обиты войлоком. Но я слишком горд, чтобы подавать жалобу в тюремное окошко.

В моих детских воспоминаниях отец и мать заслоняют сестер и брата; вероятно, потому, что я был на десять лет моложе брата и на четыре — младшей сестры; между мною и ими была пуста, образовавшаяся смертью двухлетнего Вани, и я был слишком маленьким для их компании. Много соединило нас позже, уже в годы взрослости, но и это оборвалось на перекрестке дорог: моя увела меня на запад. Я помню в детстве только крашеный пол нашей залы, посыпанный тальком, чтобы лучше скользили ноги танцующих: два раза в зиму у нас собиралась гимназическая молодежь. Но я лишь болтался под ногами — меня укладывали рано спать. Ни тени зависти к старшим — мой мир был особым и чуждым шумом: книжки, столярные и слесарные инструменты, пересадка растений под руководством отца, строительство замков ребяческой фантазии. Только одно было общим для нас всех: мелодия пения. Отец, если не был занят своими бумагами, измышлял какое-нибудь рукоделье (иногда сложное: мы с ним заново обивали мебель, делали рамки для картин, чинили замки, мастерили резные шкапчики), — и неизменно что-нибудь напевал. Мать, занимаясь хозяйством, приятным голосом пела романсы, иногда польски (она воспитывалась в Варшаве). Брат был по-настоящему музыкален, немного играл на рояле и обладал прекрасным баритоном при абсолютном слухе; любили петь и сестры — по преимуществу что-нибудь чувствительное или русские песни. Не отставал и я, легко схватывая мотивы из опер или старинные песни, теперь уже всеми забытые, про Ваньку-ключника, злого разлучника или про то, как «прогрела труба, повалила толпа» и как палач, блеснув топором, показал толпе «ту головушку неповинную», — не знаю, почему у нас в таком ходу были песни арестантские и революционные восьмидесятых годов, может быть, потому, что в нашем городе жило немало ссыльных, и от него начинался этапный сибирский путь. Мой репертуар вольных — как говаривали тогда — песен пополнился краткой уфимской жизнью, где мои старшие кузины были стриженными и на берегу Демы распевались студенческие песни; там я впервые был поражен перекличкой «Слушай!» в знаменитой тюремной песне «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночь темна», — ее любил напевать и мой отец, чиновник и член уголовного суда. Я думаю, что не словами, а звуками была вспахана во мне почва для будущих благодатных всходов (благодатных — это совсем серьезно!), взрывших позже в тюрьмах, в ссылках, при всех режимах и всех обстоятельствах — и так до сего дня; как обидно, что сей день уже закатный! Если бы можно было повторить путь пройденный, я повторил бы его без колебаний, не потому, что он хорош, а потому, что много перед нами не было, и неизбежностью своей он до конца оправдан. Голосом старческим пела и моя няня, Евдокия Петровна, — про стоявшую во поле березоньку, и про не белы-то снега, только на свой лад и своим мотивом. Отчасти эта ее музыкальность была причиной того, что я, еще четырехлетним, собирался на ней жениться, но получил отказ и ломтик арбуза с правом проглотить косточки. В третьем классе я завел гармонию и играл на ней, как виртуоз, с таким дрожанием звуков, что младшая сестра даже плакала: она очень любила вальс «Невоз-

вратное время». Но меня не учили музыке, так как несколько хромала моя латынь.

Время, конечно, невозвратное, но плакать не о чем. Внезапно, по смерти отца, наша семейная жизнь свернулась: исчез зимний сад, комнаты стали маленькими. Брат был казанским студентом, две сестры вышли замуж и уехали. Их жизни не входят в эту повесть о самом себе. Не связанный хроникой, я крутым поворотом возвращаюсь к первым дням гимназической учебы, к фуражке с огромной тульей и гербом, к ранцу с бело-желтыми разводами то ли оленьей, то ли коровьей стриженной шкуры, к длинному навыворот пальто, в полах которого путались ноги, к грубой шерсти башлыку, который у маленьких напяливался на фуражку, у старших, в сложенном виде, защищал только уши, а у семиклассных и восьмиклассных стариков заменялся белым, кокетливым и красивым, треугольно опускавшимся на спину, а концы висели спереди свободно, — немалая вольность. Ноги зимой в глубоких резиновых калошах, хотя и в них пальцы зябли, не то что в валенках, не полагавшихся по форме. И хотя нас рядили солдатиками, — сальной пуговкой, как звали нас уличные мальчишки, — и хотя обучали военной гимнастике и сдаиванью рядов, но зато не соблазняли сознания позднейшей бойскаууской дребеденью, нашивками, знаменами, дисциплиной и девизом «Будь готов», — может быть, просто по глубоко штатской провинциальной лени. Все мы, школьники, наши родители, наши учителя, — вся страна знала, что гимназия есть необходимое зло, что в ней усердно преподается то, что не нужно, и не будет нужно, и опускается все то, что может понадобиться в жизни. Мы обламывали зубы о латинские и греческие орехи, склоняли, спрягали, учили назубок исключения, старались запомнить, сколько легионов отправлено Цезарем туда-то и как протекали анабазис и катабазис, мы навсегда отпечатывали в мозгу пифагоровы штаны, генеалогии прародителей, призвание варягов, происшествия в семье Романовых, мысы, носы, полуострова и проливы, стрекозу и муравья, с одинаковым усердием затверживали «андра мой эннепе», «не лепо ли ны бяшеть» и слова с буквой ять, но, окруженные почти девственными лесами, не обязывались отличать злаки от овощей и слизняков от млекопитающих: естествознание было изъято из гимназической программы, за исключением легенды о земных тварях, попарно втиснутых Ноем в его достопамятный ковчег. В нашем «физическом кабинете», где мне довелось побывать лишь раз, вращался стеклянный круг перед площадкой, сев на которую, можно было ощущать, как дыбом поднимаются на голове волосы: граница наших физических познаний. В изучении российской словесности мы были прочно прихлопнуты крышкой голубевской Коробочки, зная по слухам, что Гончарова звали Иваном Александровичем, а Кольцов был прасолом. Затем нас отправляли по университетам. Но было во всем этом одно преимущество: полное сознание, что гимназия не способна ничему научить и что поэтому каждый, не желающий остаться неучем, должен учиться сам, не считаясь с программами и не обращаясь за советом к протухшим и спившимся с круга учителям. А когда к нам ненароком попал в учителя греческого языка будущий профессор истории Николай Рожков, выражавшийся членораздельно, мы приняли карельскую березу марксистского дба за подлинные сократовы шишки, — и не

малая часть его учеников уверовала в прусского бородатого бога.

Мне было нетрудно учиться; поступая в первый класс гимназии, я уже знал начала латинской грамматики, так как был подготовлен матерью. Но к одному не мог быть подготовленным в семье: к бессмыслице гимназического преподавания, и она была для меня источником великих страданий. Я легко решал арифметические задачи с многозначными числами, но столбенел и терялся, если в их условии говорилось, например, о крестьянине, купившем кусок шелковой материи в 427 аршин и 3 вершка по 4 рубля 81 копейка за аршин, из которых 1 аршин 17 вершков он истратил на кафтан, 221 аршин 1 вершок на юбку жены и остаток обменял на овес, приплатив 11 копеек, — сколько пудов овса он получил, если пуд стоит 53 рубля 20 копеек? Я приставал к матери с вопросами, зачем крестьянин шил кафтан из шелка и почему так много пошло на юбку? Она старалась убедить меня, что это только так, для трудности, и что крестьянин тут ни при чем, а нужно просто вычесть кафтан и юбку из куска, помножить на стоимость аршина и разделить на стоимость овса, но я так не мог, мне мешало лицо крестьянина, хозяйна нашей дачи в деревне Загарье, зимой носившего меховую шапку, и я не мог представить себе его жену в такой огромной шелковой юбке. Когда же мы заучивали наизусть — Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков роди Иуду и братьев его, Иуда роди Фареса и Зару от Фамари, — никак я не мог проникнуться святостью евангелия от Матфея, так как невольно представлял себе нашу кошку, котят которой дворник трижды в год уносил топить. Я был очень способным дома, когда мать готовила меня к поступлению в гимназию, тем более что присутствовал на ее уроках со старшими детьми, многое запомнил и после воспринимал легко; но гимназия не только убивала всякую жажду знания, но и развивала тупость восприятий. Помню, как однажды, не одолев какой-то юбки в 200 аршин и зубрежки грамматических исключений, я почувствовал себя глубоко несчастным, заживо замученным и осужденным на гибель человечком, лег на пол, разрыдался и так заснул. Я лежал в той яме, где арестант высосал корову, и боялся поднять голову, так как меня преследовали Иуда и братья его и хотели заставить писать мелом на черной доске, и это были древляне, которые привязали к верхушкам деревьев Святополка Окаянного за то, что он не решил задачи, и теперь хотели так же разорвать и меня. Лежать было очень холодно, лодку качало, под голову забралась скользкая рыба, пальцы мои были перемазаны в чернилах, и я стал тоненьким голосом звать мать, а громче крикнуть никак не мог, что-то застряло в горле. Вдруг стало хорошо, точно пригрело солнцем, мать подняла меня, довела до постели, и я опять заснул крепко, сладко и без страшных снов. После этого несколько дней меня не пускали в гимназию и не заставляли учить уроки, — и этих дней было достаточно, чтобы вдруг все стало гораздо проще, Фарес и Зара прочно утвердились в памяти, а святая Ольга мне даже понравилась своей замечательной хитростью, и я перешел во второй класс с похвальным листом. Вглядываясь в даль жизни, я вижу себя в Неаполе очень жарким летом, в дрянном отеле. Я приехал по делу, но еще в поезде почувствовал страшную головную боль, свалившую меня в постель. Со мной не было никаких

лекарств, и не было сил поднять голову, встать и позвонить. Мигрень дошла до такой степени, что я, навалив на голову подушку, выгнул тело, напрягся и старался воткнуть голову в твердый тюфяк. Думать ни о чем не мог, но весь был проникнут ощущением своего одиночества и грядущей гибели, глухо рычал в подушки и боялся переменить положение. Потом на какое-то время я потерял сознание, а когда очнулся, боль сразу ослабла и еще через несколько минут совсем прошла. Я встал с осторожностью и боязнь, увидал, что за окном уже темнеет, почувствовал голод,—и этот вечер в Неаполе был самым приятным и очаровательным за мое долгое знакомство с нелепейшим из итальянских городов. Было поздно идти по делам, знакомых не было, я поднялся фуникулером на Вомеро, дошел до монастыря Камальдоли и смотрел оттуда на Неаполитанский залив и на город. Я совсем не был одинок—всюду горели огни, зажженные людьми, меня окружал живой мир необыкновенной красоты, и уже в полной темноте я угадывал знакомые очертания берегов, городков и двуробого Везувия. Радостно изумляясь своему блаженному состоянию, я уголком мозга вспомнил такой же странный переход от ужаса и кошмара к покою и ясности,—это было связано с муками гимназистика и как будто пригрезившейся материнской лаской. И когда в Москве я лежал на запыленном полу всероссийской чека, в так называемой конторе Аванесова, ожидая отвода для меня и других более уютного помещения, была минута, когда мне хотелось умереть от отвращения к глупому обезьяньему миру; увидев доску, лежавшую под ногами, на которых мне не нашлось места, я подложил ее под голову, заснул, а через полчаса уже улыбался, когда дородный сытый латыш, разводивший нас по камерам, на ломаном языке назвал «несознательными буржуями» меня и моего товарища, поделивших годы своей молодости между тюрьмами и эмиграцией. Нужно только немножко отдыха, немножко отдыха,—и опять можно жить и даже смеяться. Если бы, падая с отвесной скалы, мне удалось уцепиться за ветвь дерева, над ней нависшего, и тем отсрочить гибель, я бы, думается, нашел время полюбоваться прекрасным видом на окрестности. Почему же жизнь не дает нам больше таких передышек? К концу учебного года, утомленные нелепостями и зубрежкой слов, имен, правил и формул, пропитанные дрянным воздухом гимназии, мы держали еще экзамены, проигрывая весну и лучшее молодое солнце; и все же наступал наконец день, когда Малинины, Буренины и Евтушевские, негодуя и раскорячившись, летели под стол или рвались в клочья, и мы кубарями скатывались с обрыва к реке и докрасна обжигались на беспощадном солнце. Только три месяца каникул и были подлинной жизнью; остальное время—бездарным и злым издевательством над маленькими будущими людьми. Поразительная страна! Ее тюрьмы были образцовыми школами, рассадниками не только сознательности, но и образования; ее средние школы—во всяком случае в провинции—были подлинными тюрьмами, с восьмиклассной пенитенциарной системой. Какое плодородие почвы и какая крепость духа потребовались, чтобы эта страна, вздрогнув и потряся весь мир, не надорвала себе сердца!

Я не присягал на верность последовательной строчке, не будучи ни отрывным календарем, ни зингеровской машинкой. Наш мозг не фильм, а свето-

чувствительный песок, и я, взяв горсть, пропускаю его струйки между пальцами. Вспомните, что вы на днях видели во сне: школьную парту, невыученный урок. Я видел речку Егошиху, хотя она, может быть, давно высохла, и только линия смородиновых кустов напоминает, что тут была влага. Мы были усталыми старичками на уроках географии, мы стали малыми детьми в политических спорах. Детство не возраст, а настроение. После десяти лет блужданий по пятнадцати странам Европы, я подъезжал на пароходе к городу, в котором родился. У самого города через Каму был переброшен оскорбительный мост. Там, где была рощица, а после—фабрика, из казарменных зданий вырос университет, на открытие которого я приехал. Молодые люди подбелили виски и важничали ревматизмами. Говоривший приветственную речь столичный профессор повернулся на каблуках к всемилостивейшему портрету, волею которого вспыхнуло на крутом берегу высокое просвещение; впрочем, он воздал честь и местному богачу, давшему на благо дело свой дом и свои деньги, как раньше он охотно жертвовал на организацию революционного террора, я знал его молодым—теперь он был сед, но очень бодр. Он не верил ни в сон, ни в чох, ни в птичий гай, но ему нравилась сибирская вольность: через хребет Урала ее избытки перекатывались сюда. Старый терапевт, лечивший и меня в раннем детстве, показал мне сокровища археологического музея, собранные его любовью и старанием; и сассанидские блюда, и клыки мамонта. С земским деятелем мы вспомнили, как чествовали в клубе заезжего Михайловского, которого никто из чествовавших никогда не читал, но это не препятствовало уважению: человека преследовали, значит, его нужно было почитать. Университет был открыт—тому доказательство кучка безусых студентов, еще не вкусивших храма науки. И тогда я отправился бродить по городу, улиц которого не узнавал, но отмечал в памяти низенькие, еще не перестроенные дома. Тут, против театра, на площади, раньше казавшейся мне огромной, устраивался зимой каток. Губы гарнизонных музыкантов прилипали на морозе к медным трубам, у мальчиков, бегавших «гигантским шагом», свистал пар из обеих ноздрей. Я тоже умел выделять на льду фигуры и однажды шлепнулся прямо к ее ногам; возможно, что ее звали Женей или Катенькой, точность уже не важна, если ее в нук не хуже меня скользит по льду на американских коньках. Но сейчас было лето, и пух тополей устилал дорожки сада снегом, мягким и теплым. Этот пух я собирал в кучки и горки, гуляя с мамой или с няней; потом я размахивал его ногами, спеша с удочками через сад, мимо почты, мимо балаганов с золотой воблой, по крутой тропинке на берег, где у пристани привязана моя лодочка. Потом, фланируя без цели, праздная безделье, я внезапно остановился посреди пустынной аллеи и понял, что это и есть счастье: на мне была совершенно новая, не тронутая солнцем фуражка студента. Тополя разрослись и стали огромными, аллеи сузились, люди перестали быть знакомыми, а я был несколько слишком наряжен, в черной паре, сшитой в Лондоне и пригодившейся к торжеству открытия храма просвещения. Европейец вернулся в захолустье. Вечером я был зван на пельмени в тот же самый домик на Екатерининской улице, к двум старым девам, моим сверстникам по гимназическим годам,—насквозь пронизанный поз-

зней родины. Я присел на скамейку и мимо меня прошел очень серьезный и деловитый мальчик с заматанными удочками. Жизнь продолжается.

Отходя от пристани, пароход гудит совершенно так же, как и в те годы. Он делает крутой поворот, так как стоял носом против течения. Берега и город, в котором я никого не оставляю, быстро пробегают большим обратным кругом, и отрывистым сердитым гудком мы предупреждаем недалежную рыбацью лодочку; я всегда считал за честь такой сигнал, отгребался небрежно и кричал: «Ладно проедешь, места много!», а по проходе — повертывался носом к крутым валам: лучшие качели в мире! Как бы мне найти тот прекрасный тон равнотуши и опыта, которым я, войдя в рубку, заказывал стерлядь кольчиком и, в ожидании, читал литографированные лекции по римскому праву? А в Пьяном Бору две дюжины раков. Дальше — перекаты реки Белой, но не будет ни духа сирени, ни сладости липового цвета, — не та пора. Мне предстоят деловые визиты и доклад об европейских военных настроениях. Еще ждет могила отца, которой я не найду, как не нашел могилы матери. Ко мне подойдет незнакомый человек и скажет: «Вы помните свою кузину Манечку? Я ее муж». Я помню очень молодую девушку, при которой я состоял рыцарем! «Приходите к нам сегодня победать». Я приехал из Рима через десять и более столиц, воюющих и нейтральных, и вот я наконец не на шутку взволнован.

И вдруг все кружится, взлетает и падает; вместе со всем кружусь и падаю я. По крыше дома в Чернышевском переулке с противной монотонностью бьет пулемет. Когда наконец выходят газеты, в списке наречных комиссаров — уфимское имя. В детских воспоминаниях «кузина Манечка» освежена недавней уфимской встречей, но московской встречи я не ищу; и однако Москва — не Тихий океан, в котором носятся щепочки, и мы встретились. Я ей сказал: «Нет, я к вам не приду, хотя всегда рад тебя видеть». Она была уже пожилой, но такой же красивой женщиной, как была всегда. Я пояснил: «Помнишь, когда я был малышом-гимназистом и приезжал в Уфу, вы, старшие, брали меня с собой на Дему, где мы раскладывали костры и пели песни. Однажды позвали к костру старика-башкира, накормили его, и он пел нам свою песню. У меня на давнее прошлое такая хорошая память, что я не только мог бы напеть тебе мотив, но и слова помню, башкирские и совершенно мне не понятные. Он пел, зажмурив глаза, а в паузах широко и как-то удивленно открывал их. И был кто-то, кто записывал и слова и мотив. Но это так, между прочим. И, конечно, я лучше помню слова русских песен, которым вы меня научили, — о вольности веселой, о славном труде и еще тюремные песни, тоже замечательные. Между прочим, я недавно сидел в тюрьме, ты, вероятно, слышала об этом, но и это не важно. Я вообще очень благодарен вам за то, что вы меня, мальчика, научили любить свободу и ненавидеть тюрьмы и дворцы. Когда я был в Черногории, король этой карликовой страны пригласил меня к себе на прием, но я отказался. «Где вы живете?» Она ответила тихо: «В Кремле». Мы обнялись и простились; в моей памяти я остаюсь ее рыцарем. Спустя несколько лет, в Берлине, я получил городскую открытку: «Мы здесь». Но в этот день я уезжал в Италию и не мог даже ответить. Я очень любил когда-то Италию, в то время — свободнейшую из

стран, и остаюсь ее преданным рыцарем, но больше в ней не бываю.

Не изменять никогда детской и юношеской вере, — и тогда не нужно справляться по карте, какими проселочными дорогами и тропинками пролегает путь. В книжке «Робинзон в русском лесу» мальчики испугались и заплутались, но пришли туда, куда и стремились первоначально: в безлюдную глушь, к прекрасной, полной значения жизни пионеров, детей природы, ее учеников и друзей. Она развернула перед ними свою книгу, в которой было записано все, что стоит на полках и в шкафах библиотек всего мира, и еще очень многое, что в этих книгах пропущено и недогадливо запутано, все, что было, и что есть, и что будет, и что неложно. Для тысяч и тысяч людей эта истина — только малопонятная фраза; они пожимают плечами, думая, что им предлагается всю жизнь есть зеленый лук, запивая железистой водой. Им, в общем, нравится чужое чудачество, но деловые бумаги не пишутся стихами; природа — это отложной ворот, гвоздика, насморк, лягушки и обратный билет; это, во всяком случае, несерьезно, даже если связано с куроводством. На неудобном столе они пишут целую стопку открыток: «Здесь чудесно! Ну, а как вы?» Ранней весной в лесу нет центрального отопления; солнце и дождь равно требуют зонтика. Радостно говоря «увы!», они расцветают надеждами на старые встречи, и за две станции полной грудью вдыхают городскую пыль; немножко обидно, что пропустили заметную панихиду — и жадно жуют газетный лист. Когда мой отец приезжал в деревню, мы шли с ним открывать новые родники и пили воду из резинового стакана. «Ты знаешь, куда бежит эта вода?» — «В речку». — «А из речки?» — «В Каму?» — «А из Камы?» — «В море». — «Ну, а из моря?» — «Из моря куда-нибудь в океан». — «Может быть, она и добежит до океана, а может быть, просто — смотри!» И он показывал мне на облако: «Вон она возвращается к нам!» И я знал и знаю, что все возвращается и снова уходит, что гибнет растение, но возрождается в зерне, что путь пролетевшей пчелы повторит другая, что вечен перелетный возврат птиц. Все, что мне позже открыли книги, что я принял из них и не отверг, — все это было раньше вышито зеленой гладью на клубничном косогоре, роилось и жило подо мхами, под древесной корой, в бесчисленных норках, прыгало по веткам, стояло звонкой песней над крестьянским полем, расцветало на воле и увядало без времени в детском кулаке. И когда на углу Никитской, в большой круглой аудитории уверенный бархатный голос убежденно бубнил о праве, я слушал с вниманием и думал о том, что выше всего выдуманного нами: о счастье расти на поляне свободным злаком, стремясь вверх и стелясь по ветру с другими. В дни революции площадь Казанского собора в Петербурге заросла травой, но и раньше я собирал цветы на московской мостовой. Я видел фотографии Ангорских храмов, стены которых просверлены вековыми деревьями и скрыты ползучими лианами. На Римском форуме я сидел под шестью дубами в развалине домика Цезаря; их неразумно сплели, но они прорастут в развалинах палатки Киджи, и вырастет лес среди камней московского Кремля, где рос он и прежде. Отец не мог сказать мне неправды; все возвращается. И детской вере я не хочу изменять.

Это было ровно полвека тому назад. Сидя у лю-

питра неудобной и непривычной школьной парты, так что ноги едва касались пола, я выписывал на листе линованной бумаги слова, которые диктовал гулявший по зале учитель русского языка. Нас было много, вихрастых, серо- и кареглазых, одетых в домашние курточки и блузы, подпоясанных кушаками и цветными поясами, пришедших на первый в жизни экзамен. Кроме экзаменатора, в зале сидел апатичный директор гимназии, доставал из носа малые шаррики и сыпал на пол, — таким я после знал его все восемь лет. Наши отцы и матери трепетно ждали где-то в соседних классах, знакомились и говорили о том, как трудно, хлопотно и дорого дается воспитание детей. Мы писали (и не забудьте — по старому правописанию), что «бѣдный дровосѣкъ съѣлъ мелкій хмель в зеленом лѣсу мачехи, а Глѣб и Андрей сидѣли на ели и ѣли хлѣб, доколь им не объявили, что прежде чѣм спуститься, им доведется помолиться». Нам сообщали свѣдѣніе, что «женитьба лѣкаря нравится великому дѣдушке Сергѣю, занятому веденіем дѣл в теченіе шестнадцати лѣтъ. Мальчик Петенька вонзил занозу за ноготь сестренки, но она не заплакала ни разу. Митенька стал клясться, что постлал постель одѣялом и ушел в поле». Мы узнали вообще много интересного, выраженного нужнейшими словами и самыми трудными в русской грамоте. Наконец, написав что-то про «мельницу, мѣл и ветхого ѣздока», про «кожаный чемодан и запеченную ветчину», мы поставили точку, и учитель отобрал наши листы с проставленными фамилиями. Я вернулся к матери, озадаченный зеленым лесом мачехи и шестнадцатилетней деятельностью великого Сергея, и мы более часа ждали решения своей судьбы.

И вот, когда я припомнил и пересказал матери все продиктованные фразы, учитель русского языка вызвал меня и мою мать в залу, погладил меня по голове чернильными пальцами и, дохнув мне в лицо водочным перегаром и табаком, сказал, что я не сделал в диктанте ни одной ошибки и что я буду писателем. Мать была горда и счастлива, хотя мечтала, что я буду прокурором, я же хотел стать лесничим.

И все-таки он оказался пророком, пьяный и опустившийся человек, доведший нас от буквы ять до Стефана Яворского и передавший другому, с которым мы доползли до Собакевича. Я не сержусь на них, ничего нам не давших; мы сумели пойти своей дорогой и уже читали Белинского, когда крестик в учебнике словесности еще не запятнал страниц, посвященных Ломоносову. Мы лениво слушали то, что нам говорили, и легко угадывали все, что замалчивалось. Не сделавшись лесничим, я остался сыном северных лесов, полжизни прожившим в киелоте средневропейской и южной природы, но не изменившим очарованьям детства. Став писателем, я не написал ни одной книги, где бы символ моей веры не был высказан языком лучшего и единственного учителя моей юности — русской природы, — в тех пределах, в каких мне этот язык доступен.

И эти строки случайных и беглых воспоминаний — только поклон той же далекой стороне: небу, воде, лесам, красной гвоздике и душистому майнику; людям, там жившим и живущим; духу вольности, который вернется, как все приходит, уходит и снова возвращается на этой земле. Теням предков и слышному зову друзей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Любовь
ЛАДЕЙЩИКОВА



Все с детства начинается...

Памяти П. П. Бажова

1.

Припомню сладковатый запах кори
И красный коврик на стене — от хвори,
И чей-то голос в дальнем коридоре,
Пугающее слово — карантин,
Шаффы, салфетки, горькие таблетки...
...Так в полусне случается нередко...
Вмиг сказочник возник на табуретке —
И целый мир мне заменил — один...

2.

Расцвел цветок на коврике на красном,
На одеяльце маленьком, атласном —
Две ящерки забегали.

Напрасно

Я рассказала маме о цветке!
Она перепугалась не на шутку,
Не отходила даже на минутку,
А я звала, звала играть Тютюку
И зажимала зеркальце в руке...

3.

Мне книжку подарили в день рожденья
От чтенья испытавши наслажденье,
Я заболела.

Может, совпаденье,
А может, вправду выросла душа...
Бывают, говорят, болезни роста,
Младенчество отпало, как короста,
И стало жить уже совсем непросто —
Реальностью и вымыслом дыша.

4.

Лет в пять неплохо по складам читала,
Но мало что на свете понимала.
Как хорошо, что в руки мне попала
Не просто книга, а чудесный клад!
В ней всё — болезнь, выздоровленье, детство,
Мое богатство, Родина, наследство...
В ней была и сказка — рядом, по соседству,
Кто прочитал — тот сделался богат!

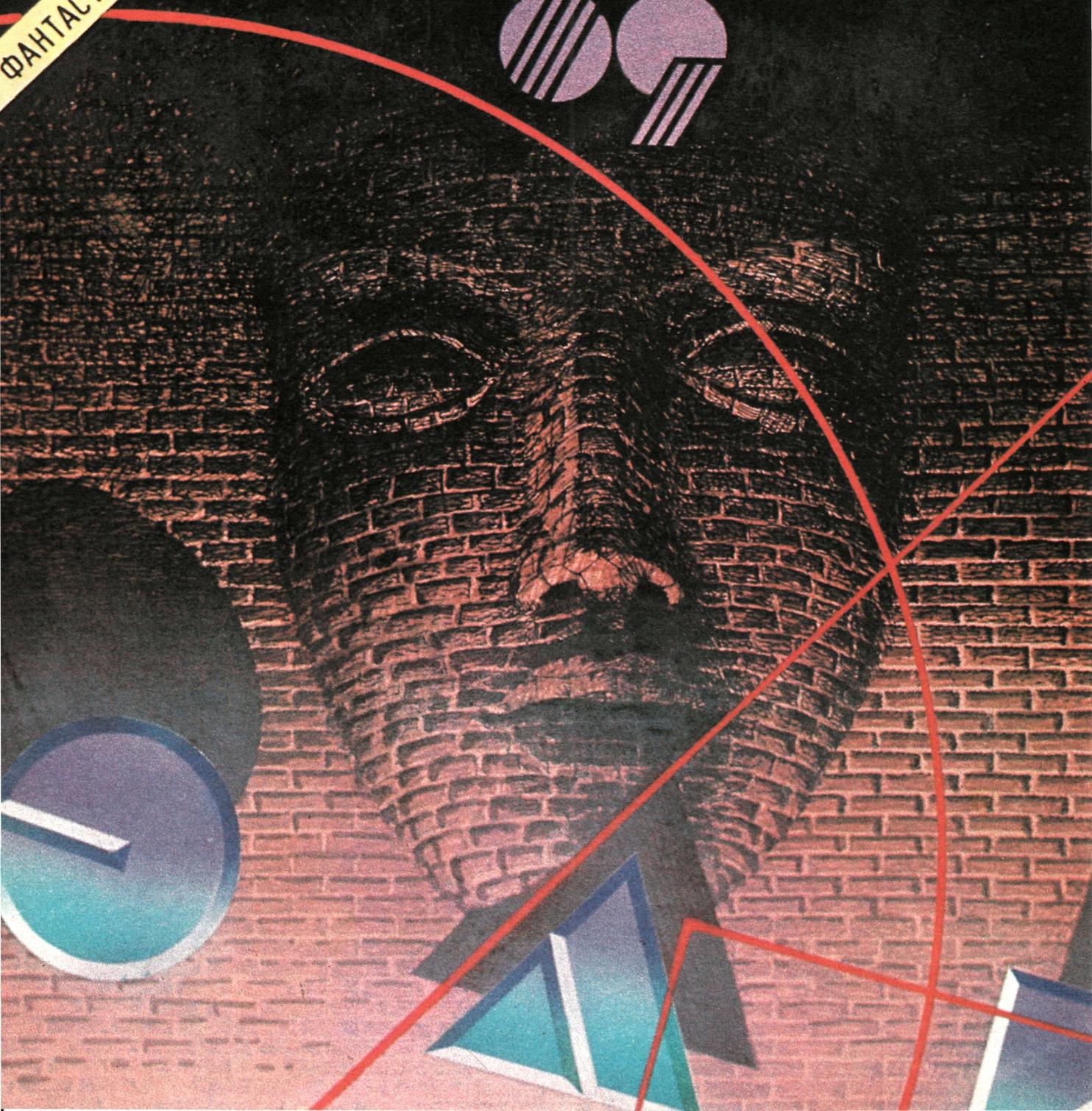
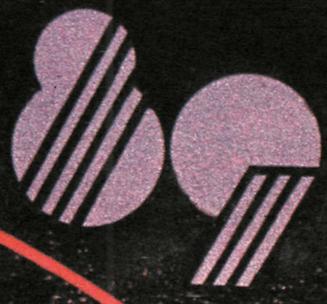
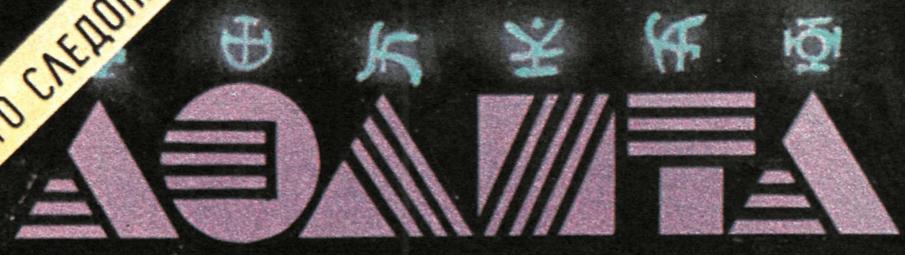
5.

Переплетаю детства паутинки,
Припоминаю страшные картинки...
Вот Полоз, вот Синюшка... в серединке...
Захлопну книгу — страшно и смешно!
Все в нас, конечно, с детства началось —
И страх, и шалость, и любовь, и жалость,
И до сих пор и лучшее осталось,
И то, о чем и вспоминать грешно.

6.

...Все с детства начинается, от ласки,
От первой буквы и от первой сказки.
Не стерлись малахитовые краски —
В них столько чуда, света и добра!
Я детям говорю: «Пора ложиться!»
И открываю новую страницу.
...А светлый дождь по крыше бьет копытцем,
Стучит, стучит до самого утра.

ФАНТАСТИКА «УРАЛЬСКОГО СЛЕДОПЫТА»







ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Дядя Солнцем и Матрьюса Селкирка

Владимир
МАЛОВ



Рисунки
Д. Литвинова



Грант лежал лицом вниз, с закрытыми глазами, но вспышка, вдруг разорвавшаяся в черной мгле небосвода, была столь ярка, что он увидел свет. С усилием разомкнул веки. Вспышка уже погасла, вокруг снова была плотная упругая чернота.

Снизу, из долины, донесся глухой рокот, похожий на затухающие раскаты грома.

Это гроза, сказал себе Грант. Сколько же времени он не попадал под грозу?! Год, два? Однако это не важно. Важно то, что вот сейчас гроза уйдет, небо очистится от черных туч, и снова выглянет солнце. Тогда можно будет разуться, походить по траве босиком, и трава, словно впитавшая в себя мокрый заряд бодрящего электричества, отдаст его человеку. После этого пройдет гнетущее, давящее оцепенение.

Новая вспышка разорвала тьму, и Грант увидел то, что и должен был увидеть: черные неровные громады скал вокруг, груды пустых жестянок из-под консервов в нескольких метрах от себя и совсем рядом — неподвижные тела Дугласа и Мартелла.

Он вскочил на ноги. Из долины снова донесся грохот. Происходило что-то непонятное, может быть, таящее угрозу, и надо было действовать. Прежде всего, нащупав в темноте переносную стойку, на которой была укреплена лампа, Грант включил свет.

Мартелл, когда лицо его осветилось, слабо пошевелился. Он приподнялся на локтях, только потом открыл глаза и повертел головой.

— В палатку! — крикнул Грант. — Надо укрыться!

Мартелл с трудом встал. От слабости он раскачивался из стороны в сторону, и видно было, что происходящее с трудом доходит до его сознания. Сам Грант уже сбросил с себя оцепенение, мысли стали четкими и ясными, ощущение непонятной опасности словно бы высвободило скрытые именно для такого случая силы. Он встряхнул Мартелла, у того дернулась голова.

— Я не знаю, что это такое, — крикнул Грант ему в лицо, — никогда не видел ничего подобного, но на всякий случай в палатку! Помогите... Дугласа...

Вдвоем они приподняли Дугласа, и в этот момент опять полыхнула ослепительная вспышка. Свет ее казался концентрированным, он обволакивал тело, давил на лицо. Видимо, Дуглас тоже ощутил это давление, потому что открыл глаза.

— Ты встань, — сказал ему Грант мягко, — надо пройти только несколько метров.

— Дайте воды, — прохрипел Дуглас, — пить...

Шаг, еще один, потом еще. По сути, Гранту пришлось тащить двоих, потому что Мартелл, поддерживавший Дугласа с другой стороны,

тоже едва переставлял ноги. Наконец они добрались до решетчатого сооружения, и Грант отпустил Дугласа, который сразу же рухнул на колени, увлекая за собой Мартелла. Но теперь они могли чувствовать себя в безопасности, что бы ни произошло. Грант быстро нажал несколько кнопок, и мгновение спустя людей накрыл купол палатки — как называлось в обиходе невидимое защитное поле диаметром в несколько метров. Оно представляло собой неодолимую преграду для любого внешнего воздействия. Правда, теоретически могли существовать и неизвестные доселе виды излучений, но пока человек не сталкивался с ними — и, значит, защиту можно было считать надежной.

Отцепив с пояса фляжку, Грант свинтил пробку и смочил водой губы Дугласа. Тот слабо пошевелился и снова затих. На секунду Гранту тоже захотелось лечь на землю и закрыть глаза, но он справился с собой, потому что снизу после очередной вспышки опять донесся рокот. Там определенно происходило что-то необычное, потому что в долине не было ничего, что могло бы стать причиной шума. Шум, очевидно, каким-то образом был связан с вспышками в небе. Таило ли все это какую-нибудь угрозу? За происходящим надо было по меньшей мере понаблюдать, и Грант, на мгновение выбравшись из палатки, выключил лампу. Все вокруг снова было залито чернильной мглой.

Еще раз разорвалась вспышка. Грант вдруг понял, что они следуют одна за другой через равные промежутки времени. Прикинув по памяти примерный интервал, он стал ждать очередную, но время прошло, а небосвод оставался черным. Вот и все, подумал Грант с неожиданной тяжестью в душе. То, что было непонятным, прошло, ничего больше не будет; и, значит, скоро уйдут силы, вдруг обострившиеся при неведомой угрозе.

Но непонятное и необъяснимое не исчезло: на дне долины теперь закрутился призрачный хоровод холодных голубых огоньков. Они вспыхивали и гасли, перелетали с места на место, то увеличивая скорость, то почти застывая в неподвижности, сталкивались друг с другом и снова разлетались в стороны. Несколько долгих минут Грант оцепенело следил за этим беспорядочным движением, и в его голове столь же беспорядочно проносились обрывки мыслей.

Чем все это могло быть? Атмосферным явлением? Галлюцинацией из-за голода, потери сил? Сначала вспышки, потом рокот, потом суета огоньков, что дальше? Внизу, в долине, среди прыгающих огоньков стал медленно проявляться какой-то темный контур; и в конце концов Грант понял, что это было такое.

Он обхватил голову руками. Спасение пришло раньше, чем они на это рассчитывали. Не то спасение, какое должно было прийти, но ведь это не имело никакого значения. Трем голодным,

измотанным людям невероятно повезло. Еще немного, и все кончится, им помогут, не могут не помочь. Надо только дать сигнал, показать, что здесь, на ровной площадке в скалах, нависших над долиной, кто-то есть.

Грант стал включать и выключать свет. Яркость его, конечно, не столь велика... Свет мешал Гранту смотреть вниз, но он представлял, что там сейчас происходит: все более четким, определенным становится темный контур неизвестного корабля, потому что ничего другого не могло быть.

Ясно, что это не земной корабль, земные корабли садятся на планеты иначе. Они проходят сквозь атмосферу таким образом, что за ними можно уследить взглядом, а не проявляются вдруг на том месте, где только что ничего не было. Но в конце концов все это не важно: откуда бы ни взялся корабль, как бы ни был устроен, каким бы способом ни передвигался, на нем, очевидно, есть экипаж, а экипаж должен помочь потерпевшим кораблекрушение.

Грант лихорадочно включал и выключал свет, посылая вниз беспорядочные сигналы. Наконец он погасил лампу и, оставшись в темноте, стал напряженно вглядываться в долину. Но там ничего нового не произошло: чужой корабль ничем не отвечал на мольбу о помощи.

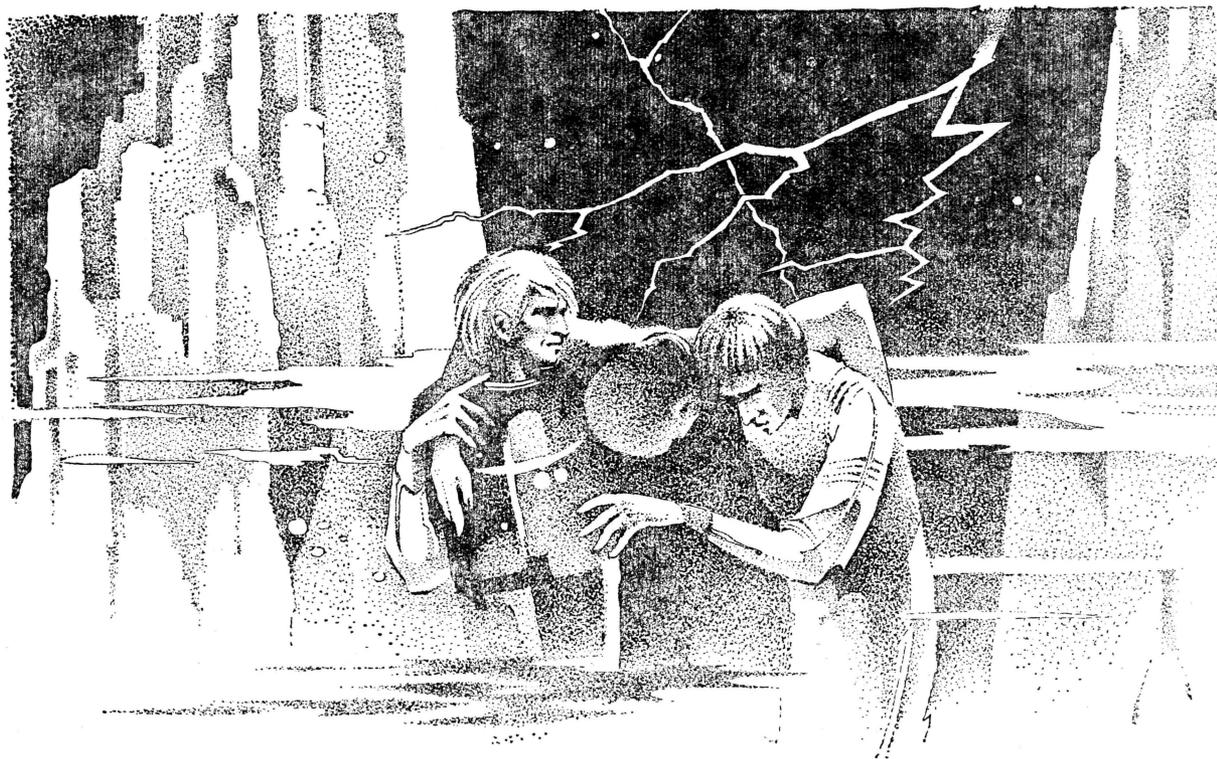
Понятно: оттуда, из долины, сигналов не было видно. В долину надо спускаться самому. Он снова включил свет.

Мельком взглянув на неподвижно лежащих Дугласа и Мартелла, Грант подошел к самому краю обрыва. В общем-то, перебираясь с камня на камень, с одного выступа на другой, вниз было совсем не трудно спуститься — при условии, что спускающийся видит, куда поставить ногу в следующий момент. В полной темноте задача усложнялась. Но рассвет придет только через пять-шесть земных часов, а кто знает, что случится за это время. Неизвестному кораблю, может быть, придет фантазия улететь, и он улетит, и его экипаж так никогда и не узнает, что здесь, всего в каком-то километре от места посадки...

Грант отыскал возле палатки моток веревки. Длина ее была стандартной, до дна, очевидно, должно было хватить. Он подумал: в общем, и в темноте, держась за веревку и действуя на ощупь, тренированный и полный сил человек без особых приключений спустился бы по скалам. А вот его самого никак не назовешь полным сил. Те силы, что остались, это последние силы, надо отдать себе в этом отчет. Ноги налиты тяжестью, непослушны, руки могут не удержаться на веревке. Если так и случится, его падение ничем не поможет Дугласу и Мартеллу. Разве что только ему самому. Он сорвется, и в этом случае все разом будет кончено.

На краю обрыва Грант выбрал здоровенный камень и закрепил веревку, несколько раз обмотав ее вокруг основания и завязав узлом. Мо-

«Аэлита» — 89



ток, разворачиваясь, с сухим шорохом полетел вниз. Грант услышал, как конец его ударился о камни у подножия обрыва, и, немного помедлив, начал спускаться.

Это оказалось неимоверно трудным. Нога находит камень, пробует его прочность, другая нога ищет еще одну опору, руки сантиметр за сантиметром перебирают веревку и дрожат от напряжения. Еще одна опора, можно спуститься ниже, вот еще какой-то выступ скалы...

Колено обожгла острая боль, и Грант едва удержал в руках веревку. Тело словно налилось свинцом, в ушах послышался тяжелый звон. Изю всех сил сжав пальцы, Грант повис на веревке, пережидая, пока пройдет боль. Наверное, ударился коленом о какой-нибудь выступ. Хорошо, подумал Грант, что ногой, а мог сильно повредить локоть — и сейчас бы уже лежал внизу, на камнях.

Боль затихла. Как обычно бывает при сильных ушибах, она вернется несколько часов спустя — и тогда, возможно, он вообще не сможет ходить. Но пока способность двигаться осталась, значит, нельзя было терять времени. Он спустился лишь на несколько метров, не поздно и не столь уж трудно вернуться. Секунду поколебавшись, Грант стал спускаться дальше.

Минут сорок спустя он почувствовал под ногами твердую поверхность, попробовал ее ногой в нескольких местах, понял, что добрался до подножия, и, тяжело дыша, опустился на каменистую почву долины.

Все вокруг по-прежнему было покрыто чернильной мглой. Отдышавшись и чувствуя, что бешено колотящееся сердце успокаивается, Грант всматривался в темноту, ожидая, что вот-вот в ней снова проявятся бегающие огоньки. Но проходили минуты, а темнота оставалась непроницаемой и упругой.

Грант ощутил, как мрачной волной внутри него поднимается безнадежность отчаяния. Вскочив, он крикнул в темноту что-то непонятное ему самому и побежал, ничего не видя, в ту сторону, где совсем недавно рисовался корпус корабля, сулящего еду, тепло, спасение. Боли в колене он сейчас не чувствовал, но через несколько минут налетел на камень и тяжело упал. Тут же поднялся и прошел, хромая, еще немного в этой непроницаемой тьме и остановился, окончательно поняв, что ничего не сможет сделать. Он даже не может вернуться назад... Оставалось лишь дожидаться рассвета, и Грант опустился на землю и обхватил руками голову, в которой кипел невероятный хаос из нетерпения, надежды, невероятных предположений и отчаяния, становившегося все глуше и темнее.

Рассвет пришел так же, как и всегда приходил на этой планете: чернильная тьма почти мгновенно сменилась ослепительным светом. Перед Грантом расстилалась каменистая, коричневого цвета долина, а вернее, просто мрачная ог-

ромная площадка без признаков растительности и какого-либо живого движения. Она была такой же пустой, как вчера, позавчера и как в тот первый день, когда они впервые увидели ее. Долину оживлял только силуэт «Арго» поблизости, их собственного крошечного космического катера, бесполезного теперь, потому что был исчерпан запас топлива. Напрасно было что-то искать, но Грант, ковыляя, все-так пошел вперед и еще долго бродил среди камней. Он не нашел ничего, никаких следов того, что тут происходило нечто загадочное, непонятное, что здесь вообще что-то происходило.

Потом он медленно, тяжело вернулся к обрыву, нашел свою веревку и с огромным трудом взобрался наверх. Колено болело все сильнее.

Грант выключил лампу, свет которой уже был почти не виден в ярком сиянии золотого солнца, быстро поднимавшегося по небосводу, прошел мимо палатки, мимо неподвижных тел Дугласа и Мартелла и осмотрел оставшийся запас продуктов, которые он держал в расщелине в камнях.

Остались полтора десятка консервных банок, наполовину пустой бочонок с водой, почти совсем опустевшая емкость с концентрированным бульоном и фляжка с коньяком, к которой пока не притрагивались.

Надо будет их как следует накормить, пронеслось в голове Гранта, может быть, лучше сразу и основательно подкрепить силы, а не поддерживать существование крошечными порциями, как это делалось до сих пор. Может быть, легче потом будет переносить просто голод, а не обман его с помощью этих порций.

Грант выбрал самую большую из банок, потом взял еще одну, пошел к палатке, оглядываясь по сторонам в поисках брошенной где-то пачки. И — от усталости, боли в колене, голода и отчаяния — потерял сознание и ткнулся головой в крупный каменистый песок.

2.

Эта планета не имела названия, потому что о ее существовании прежде никто не знал, и, оказавшись на ней, Грант, Дуглас и Мартелл сами дали ей имя — Хуан-Фернандес.

Так называются на Земле острова в Тихом океане, на один из которых попал когда-то матрос-шотландец Селкирк, ставший прообразом Робинзона Крузо. Грант, Дуглас и Мартелл тоже оказались в положении робинзонов, так что название было вполне оправданным. Правда, в отличие от злополучного матроса они имели возможность послать сигнал бедствия и знали, что помощь придет: оставалось только дожидаться прилета «Торнадо».

Небольшая звезда, вокруг которой обраща-

лась планета, одновременно с нею тоже получила имя — Солнце Матроса Селкирка. У звезды, правда, какое-то название уже было, но они его не знали, дали свое. Случилось это в самый первый день, когда три робинзона были еще безмерно счастливы и веселы, потому что спасение казалось чудом.

А сейчас, пройдя над коричневыми и темно-серыми громадами скал, над ущельями и долинами необитаемой планеты Хуан-Фернандес, Солнце Матроса Селкирка стояло прямо над лагерем, разбитым пришельцами, и убийственным жаром дышало на три безжизненных тела, распростертых на маленькой ровной площадке среди остроконечных каменных глыб на самом краю обрыва.

Грант, самый молодой из робинзонов, пришел в себя от того, что раскаленный воздух душил его легкие. Он с трудом приподнялся и включил защитное поле палатки. Солнечные лучи, отразившись от него, перестали жечь, и Грант вздохнул легче. От слабости кружилась голова, вернее, казалось, что в ней крутится что-то. Он тяжело опустился на колени и стал всматриваться в лица своих спутников.

Исхудавшее, почерневшее лицо толстяка Мартелла было перекошено странной гримасой. Губы его неясно шевелились, будто в забытьи он что-то произносил шепотом. Длинное тело Дугласа было неподвижным. Он лежал лицом вниз, и коротко стриженный затылок казался окаменевшим. Дрожащей рукой Грант потряс Дугласа за плечо, и тот пошевелился, перевернулся на спину, открыл глаза и прохрипел, бессмысленно глядя в небо:

— Сейчас я оденусь... спущусь на обед...

Вскочив на ноги, Грант кинулся к продуктам.

В этот раз он расщедрился: разогрев на электронной печке три банки с консервами, разложил содержимое по тарелкам, а горячий бульон налил в чашки. Обычно они ели прямо из банки, по очереди, а банка была одна на всех. Микроскопические порции были следствием того, что робинзоны рассчитали свой рацион исходя из количества наличных продуктов и времени, когда должен был прилететь «Торнадо». Через пару недель после прибытия на Хуан-Фернандес они почти полностью потеряли силы и проводили время в полузабытьи, а ждать оставалось еще около месяца. И теперь отчаяние, безмерная усталость, жалость к друзьям и самому себе заставили Гранта приготовить почти роскошный обед, а там будь что будет.

Это было поразительно: силы возвращались к измученным людям просто на глазах. Грант видел, как разглаживаются складки на лице бывшего толстяка Мартелла, как розовеет высохшее лицо Дугласа. Сам он тоже ощущал давно не испытанный прилив сил. Ели в полном молчании, с ожесточением скребя ложками по дну тарелок. Когда роскошный обед закончился, голод не был

утолен полностью, но они знали, что после двух голодных недель нельзя набрасываться на еду, и сдерживали себя. Обед запили водой, в которую Грант щедро добавил коньяка. Потом Мартелл откинулся назад, вытянулся на земле и впервые нарушил молчание:

— Может быть, так и лучше,— сказал он с усмешкой.— Глупо себя истязать.

— Точно,— пробормотал Дуглас,— с голоду помереть мы всегда успеем.

Грант потер ноющее, опухшее колено, вдруг вспыхнула боль, и тогда он вскрикнул, но не от боли, а от того, что в памяти молнией высветились события прошлой ночи.

Он совершенно о них забыл! Совершенно!!

Осознав это, Грант начал лихорадочно искать ответ — почему? Да не потому ли, думал он, что ничего просто и не было, что все это — грохот и вспышки, огоньки в долине и призрачный контур неведомого корабля — представляли лишь болезненные, беспорядочные, нереальные видения, пронесшиеся в мозгу, измученном от отчаяния и голода? Но боль в колене была вполне определенной, и конец веревки все еще был обмотан вокруг камня на краю обрыва, и, значит, в самом деле случилось нечто такое, что заставило его в кромешной мгле, рискуя сломать себе шею, спустаться в долину.

Сдерживая сильно забившееся сердце, Грант повернулся к Мартеллу:

— Этой ночью ты ни на что не обратил внимания?

Мартелл помотал головой.

— Припомни!

— Шум какой-то был,— сказал Мартелл после паузы.

— Что-нибудь еще?

— Постой... Да вот, зачем-то с тобой тащили Дугласа в палатку. Вроде это было на самом деле.

— Не помню,— сказал Дуглас.

Грант резко встал и сморщился от боли в ноге.

Значит, все было на самом деле! Было!!

На самом деле внизу, в долине, какое-то время был неизвестный космический корабль, которому он не сумел подать знак бедствия.

На мгновение в душе Гранта снова поднялось отчаяние, но он тут же взял себя в руки. В конце концов, подумал он, кто были хозяева корабля? Мала вероятность враждебности, ни разу еще не испытывали этого земляне, и все-таки. А помощь придет, «Торнадо» в пути, и они дождутся его, потому что они люди мужественные, стойкие. Они доказали это — и ученый Стив Дуглас из Монреаля, и журналист Клод Мартелл из Нанта, и, видимо, сам он, Грант, второй штурман пассажирского лайнера «Антарктида». Они доказали это тем, что стойко переносили мучения голода, не молили о лишнем кусочке, не смотрели друг другу со злобой в рот, сумели

сохранить, говоря выпендренно, достоинство и честь. Если так, они выкарабкаются. Могло ведь быть много хуже, скажем, если б воздух на Хуан-Фернандесе не был пригоден для дыхания. Баллонов с воздушной смесью ненадолго хватило бы. Но робинзонам повезло, потому что приборы после посадки «Арго» показали: воздух не идентичен полностью земному, но не содержит вредных примесей и по составу вполне пригоден для дыхания. Так не раз уже бывало на многих планетах вселенной, но, разумеется, не на всех, на большинство планет земляне высаживались только в скафандрах.

Они выкарабкаются! Можно еще день-два питаться нормально, потом снова перейти на микроскопические дозы, хотя как-то поддерживающие существование... они должны дотянуть до прихода помощи.

А пока на всякий случай надо перенести лагерь вниз, в долину.

Без особой надежды на этот случай, но — почему бы случившемуся однажды не повториться? Собственно, они и собирались с самого начала разбить лагерь внизу, рядом с «Арго», и лишь во избежание всяких неожиданностей забрались повыше. Тогда они еще не знали, что здесь нечего опасаться.

Грант энергично растер колено.

— А теперь вот что, — распорядился он деловито, — теперь нам всем надо немного поработать.

Мартелл и Дуглас подняли головы.

— Силы у нас пока есть, — бодро сказал Грант. — Так что спустим лагерь вниз.

Оба его спутника послушно, без слов, встали на ноги. Оба были старше Гранта, причем Дуглас — лет на двадцать пять, но оба с самого же начала безоговорочно приняли его руководство как нечто само собой разумеющееся. В конце концов на «Антарктиде» оба были туристами, а Грант, несмотря на молодость, профессионал космоса. Три года полетов за спиной, к тому же на туристских и пассажирских лайнерах персонал, как известно, подбирается особенно тщательно. И второй штурман, что тоже известно, играет не самую последнюю роль в общей работе экипажа.

— Что-нибудь случилось? — спросил все-таки Дуглас.

Грант посмотрел на дно долины.

— Я имею основания считать, — сказал он, немного колебавшись, — что этой ночью внизу находился какой-то космический корабль. Не земной, он не был похож на наши корабли. В космосе такие события бывают, — добавил он, стараясь говорить как можно спокойнее. — Добраться до него я не успел, он улетел. Но в любом случае теперь нам лучше жить в долине, потому что они могут прилететь снова — раньше, чем прибудет «Торнадо».

Дуглас застыл на месте, растерянно глядя

на Гранта. Солнце Матроса Селкирка сверкало на его голом черепе. У Мартелла отвалилась челюсть, и он безуспешно пытался закрыть рот. В других условиях оба выглядели бы донельзя комично, но Грант улыбнулся не поэтому. Просто в нем вдруг поднялась теплая волна чувства, не имеющего точного определения: смесь нежности и уважения к двум этим людям, совершенно «земным» и в чем-то даже нескладным, а вот, надо же, оказавшимся в экстремальных условиях мужественными, словно античные герои, бывшие научной специальностью историка Дугласа...

И в одно мгновение перед глазами Гранта промчались несколько картин.

Первая: катер «Арго» только что опустился на Хуан-Фернандес, они взяли пробу воздуха, вышли наружу. Для Дугласа и Мартелла это вообще первый выход на планету, где прежде никто не был. Легко ли психологически решиться ступить в чужой мир без скафандра, без всякой защиты, поверив на слово мальчишке-штурману, что никакой опасности нет?

Картина вторая. Передатчики «Арго» после определения координат дали сигнал о помощи. Подсчитано, когда помощь может прийти, и вместе с тем подсчитан запас оставшихся продуктов. Ясно одно: жить придется впроголодь, и это еще мягко сказано. Установлен крохотный дневной рацион. И ни слова протеста, никаких вопросов и жалоб. Надо как можно меньше расходовать энергии, больше лежать, не делая лишних движений, и оба послушно лежат, изредка принимая смехотворно малые крохи пищи, и чахнут на глазах. Все меньше остается сил, но оба без слов терпеливо ждут, когда придет помощь, целиком доверившись ему, Гранту.

А до этого были многие дни в крошечной рубке на «Арго», когда катер шел наугад, без руля и ветрил, пока не наткнулся на неизвестную и необитаемую планету. Тоже дни не для слабых духом. А что могло бы быть, если б спутниками Гранта оказались на «Арго» какие-то иные люди?..

— Все вопросы потом, — сказал Грант, — сначала поработаем.

Лагерь был свернут быстро. В нем и не было ничего: палатка, лампа и продукты плюс всяческие мелочи. Сначала вниз на веревке спустился Мартелл, за ним последовали вещи, а там наступила очередь Дугласа и самого Гранта. Новый лагерь разбили у борта «Арго», и вскоре трое робинзонов вновь вытянулись на каменистом крупном песке рядом с решетчатой опорой палатки. Они устали.

Дуглас, понятно, устал больше всех и быстро задремал, ничего не говоря. Мартелл, вновь обретя после обеда свою обычную французскую живость, мало вязавшуюся с его полнотой, напротив, засыпал Гранта шквалом вопросов о том, что именно тот видел ночью в долине. Грант

вздыхнул. Снова пришла мысль: огоньки в долине были ясными, отчетливыми, а вот контур корабля вполне мог лишь пригрезиться полумертвому от голода человеку. Ясно только одно, если снова вспомнить слова Дугласа: что-то непонятное действительно происходило ночью в долине. Но мало ли что может происходить на неизвестной планете!

— Ты вот что, — сказал Грант, — поменьше жестикулируй. Побереги силы. Нам «Торнадо» еще ждать и ждать, а раньше, может, никто и не накормит.

Мартелл послушно сложил руки, однако не умолк. Теперь он тараторил про книгу, которую непременно напишет, как только вернется на Землю. Книгу о тех необыкновенных космических путешествиях и приключениях, что выпали на долю ему, Клоду Мартеллу, репортеру из газеты «Нант». Но речь журналиста становилась все невнятнее, и, наконец, на полуслове он тоже погрузился в сон.

Солнце Матроса Селкирка медленно клонилось к закату, длиннее становилась тень от «Арго». Некоторое время Грант следил за движением светила по небосводу, а потом встал. Ночная тьма должна была прийти только спустя часов пять-шесть. Прихрамывая, морщась от боли, Грант пошел в долину, и чужое солнце смотрело ему вслед.

3.

Часа через два Грант в первый раз остановился, осматриваясь. По его расчетам, он уже должен был дойти до того места, где ночью водили хоровод огоньки. Собственно говоря, что он хотел здесь увидеть? Вот этого Грант и сам не знал, и более того, в глубине души даже не верил, что обнаружит в долине какие-то следы. Впрочем, и само место, где происходило нечто, найти было не так-то просто: чернильная тьма скрывала ночью все ориентиры и расстояния.

И все-таки он пришел сюда снова. Пришел, потому что это было лучше, чем просто сидеть у «Арго», и потому, что сил у него осталось больше, чем у его товарищей.

Вокруг, во все стороны, видно было одно и то же: плоская равнина, окаймленная скалами. Единственная в этом неприветливом скалистом мире ровная поверхность, в чем трое землян убедились, когда накручивали вокруг неизвестной планеты виток за витком. Правда, и в долине этой тоже были разбросаны камни, большие и маленькие, но все-таки здесь можно было совершить посадку. Здесь и сели они на «Арго». И здесь же этой ночью сел, а потом снова улетел неизвестно чей корабль.

Грант присел на ближайший камень и потер колено. Под каблук попался какой-то странный круглый предмет. Быстро наклонившись, Грант

схватил его и тут же разочарованно отбросил в сторону. Камень, обычный круглый камешек. Бесплезно искать здесь что-то. Неизвестные корабли садятся на эту планету так, что не оставляют никаких следов: ни камней, опаленных огненными языками посадочных двигателей, ни каких-либо ненужных экипажу вещей, например, пу-
стых консервных банок...

Грант подставил лицо Солнцу Матроса Селкирка. Теперь, когда он сидел на камне в самом центре долины, им овладело странное спокойствие. Наверное, причиной стал небывало роскошный обед. Хорошо было просто сидеть, отдыхая перед обратной дорогой, и не думать ни о чем. Вернее, думать обо всем понемногу.

Об этой планете Хуан-Фернандес, ранее неизвестной. О двух его спутниках, лежащих сейчас возле «Арго», двух земных людях, за которых он в ответе. О будущей книге журналиста Клода Мартелла, которая, видимо, будет пользоваться успехом, потому что речь в ней пойдет о приключениях не совсем обычных. Редки в космосе приключения, давно ушли в прошлое героические времена первопроходцев, все обычно и обыденно, особенно на туристских рейсах, вроде тех, что выполняет комфортабельный лайнер «Антарктида». И все-таки приключения закрутили в своем вихре второго штурмана «Антарктиды» и двух пассажиров, выбросив их в конце концов на необитаемый берег...

Грант встал, пора было отправляться в обратный путь. Прихрамывая, двинулся к темной, едва приметной точке «Арго», а память, раз вернувшись к тому, что было пережито до посадки на этой планете; заново выстраивала всю цепь событий, в результате которых они оказались здесь. И он окунулся в них, вдруг удивившись тому, что, по сути, впервые — а ведь сколько времени прошло! — напоминает все по порядку.

Под ногами Гранта сухо скрипел крупный песок, перед глазами были разбросанные по долине камни, большие и маленькие, но видел и слышал он сейчас совсем другое.

...«Антарктида» с двумя сотнями пассажиров на борту совершала обычный туристский маршрут, включающий несколько планетных систем. Туристов ждали археологические раскопки на четвертой планете системы МВ-33, открытая экспедицией Бориса Меричисина, уникальная планета, представляющая собой по составу сплошной изумруд, несколько цивилизаций разных ступеней развития, но не вышедших пока в космос, — за ними можно было понаблюдать издали, не высаживаясь на планетах.

Еще одной достопримечательностью была Голубая Дымка — неизученное космическое образование, мимо которого «Антарктида» должна была пройти на приличном расстоянии. Природа Голубой Дымки была неизвестна, можно сказать, что о Дымке вообще ничего не было

известно, хотя открыли ее уже довольно давно. Внешне она и была просто Голубой Дымкой — пульсирующим облаком солидных размеров, а что скрывалось в ее недрах? Ни один из разведывательных зондов, посланных к ней, не вернулся: все словно бы растворилось в Голубой Дымке. Вместе с тем никаких признаков опасности она вроде бы не таила, по крайней мере внешне. Голубую Дымку продолжали изучать, неподалеку от нее была развернута постоянная исследовательская станция, работа которой пока не дала никаких результатов.

В чем не было недостатков, так это в гипотезах. О Голубой Дымке спорили, она интересовала не только специалистов, а всех, потому что любого человека всегда тянет к неразгаданной тайне. И не было ничего удивительного в том, что всемирно известный историк Стив Дуглас из Монреаля и репортер из Нанта Клод Мартелл, двое туристов с «Антарктиды», жившие в одной каюте, заходя стали упрашивать капитана Здравко Танева подойти к Голубой Дымке возможно ближе. Не было ничего удивительного и в том, что капитан им наотрез отказал, и отказывал еще долго, пока наконец не распорядился выделить в распоряжение ученого и журналиста крошечный катер «Арго» и второго штурмана Диму Гранта. Этого не случилось бы, если б в душе капитан не питал глубокой слабости к древней истории. И эта слабость дорого обошлась капитану Таневу; несмотря на все тяготы вынужденного робинзонства, Грант не хотел бы оказаться на его месте — капитан, бесспорно, сейчас ночей не спал, хотя уже знал, что все кончилось сравнительно благополучно. Впрочем, еще не кончилось.

«Арго» отошел от «Антарктиды» в глубокой тайне от всех других пассажиров. И вроде бы капитан Здравко Танев ничем не рисковал, потому что инструкции, данные им Гранту, были строги и определены: оставаться от Голубой Дымки на безопасном расстоянии. Во всяком случае, постоянная исследовательская станция находилась гораздо ближе к Дымке, чем строго определенная капитаном граница. Мартелл и Дуглас могли вволю поснимать космический феномен, вволю налюбоваться им с этого безопасного расстояния.

Что касается журналиста, его любопытство было вполне понятным. К тому же он жил в городе, где некогда родился великий фантаст Жюль Верн. Но почему Дымка так притягивала к себе историка, специалиста по античным временам? Этого Грант не мог уразуметь. Сам он не проявлял к Дымке особого интереса: уже трижды проходил рядом с ней, был знаком с гипотезами и даже с некоторыми из людей, работавших на станции возле Дымки.

Но случилось так, что Голубая Дымка проявила интерес к крошечному катеру «Арго», это было совершенно неожиданно и невероят-

но. В конце концов, если ее заинтересовали земляне, совсем рядом и уже давно висела исследовательская станция. Как бы то ни было, Дымка вдруг протянула в сторону «Арго» длинный голубой язык-протуберанец. Все произошло мгновенно: катер оказался в голубой мгле.

Грант даже поехал, припоминая первые минуты после этого. Связь с «Антарктидой» мгновенно прервалась, приборы словно обезумели. И почти сразу же мгла исчезла. Исчезла и вся Голубая Дымка. Но не было больше близости и ни «Антарктиды», ни исследовательской станции. Приборы продолжали показывать нечто несусветное. И далеко не сразу штурман Дмитрий Грант сумел понять, что каким-то чудом «Арго» оказался совсем в другом месте Вселенной, причем там, где еще никогда не пролегли маршруты земных кораблей.

Как и что произошло — это для гипотез. Возможно, Голубая Дымка — некая непространственная структура, непостижимым образом связывающая самые разные точки Вселенной. Но меньше всего о гипотезах помышляли в первое время трое землян на борту крошечного катера, занесенного неизвестно куда. На борту был лишь аварийный запас продуктов и воздуха для дыхания. Катер двигался наугад, конец трех людей был предрешен. Однако, словно героев старинного морского романа, их выбросило на неизвестный и необитаемый берег, каким оказалась планета Хуан-Фернандес, — планета, воздухом которой можно было дышать. Это было чудом. Еще во время беспорядочных скитаний на «Арго» удалось наладить связь с ближайшей, но все-таки очень далекой звездной системой, освоенной людьми. Не будь чуда, спасти их не успели бы. А теперь — помощь оттуда уже летит и, если б было достаточно продуктов...

Под ноги Гранта попался еще один круглый камешек. Форма его была идеальной... Повертев камешек в руках, Грант со вздохом отбросил его. Нет, те, что были ночью в долине, не оставили никаких следов. Что им понадобилось все-таки на планете Хуан-Фернандес, какой смысл был садиться на несколько часов? Это было словно насмешкой — сесть совсем рядом с лагерем полумертвых от голода людей и тут же улететь.

Мысли Гранта вернулись к его спутникам. С ними ему повезло. До последней возможности он таил от них правду, пользуясь тем, что оба не разбирались в приборах. Потом убедился: Мартелл с Дугласом интуитивно поняли, что произошла не просто катастрофа, а что-то страшное, и сами, как могли, старались подбодрить юного второго штурмана. Твердые, мужественные люди!

Грант вдруг представил: вот где-то сейчас продолжает рейс «Антарктида». А в другом месте Вселенной ведет свой «Торнадо» на помощь робинзонам капитан Карел Стингл. У каждого в космосе есть какое-то дело, и только они трое

обречены на мучительное бездействие. И должны вдобавок как можно меньше двигаться, сохраняя силы. Было в этом что-то обидное и унижительное. А ведь их пребывание на Хуан-Фернандесе могло бы стать изумительно деятельным, если бы он успел добраться до чужого корабля. Это была бы встреча с цивилизацией, по меньшей мере равной земной. Исключительное событие!

Не случилось...

Надо было себе в этом признаться: он устал. Все-таки уже несколько часов бродит по долине. И снова его терзает голод, не утоленный до конца. Когда все останется позади, он обязательно будет сам готовить пищу, потому что нет наслаждения выше — видеть, как, например, румянится на твоих глазах цыпленок, сдобренный чесноком, слышать, как шипит на масле тонко отбитое мясо, вдыхать запахи, способные свести с ума, все время «подправлять» блюдо, добавляя того и этого, и только потом сесть за стол с крахмальными салфетками, хрусталем и фарфором...

Мысли Гранта беспорядочно прыгали, и нога болела все сильнее. Наверное, зря он пошел в долину, ведь наперед был почти уверен, что ничего не найдет. Но катер был уже почти рядом, Грант видел неподвижных Дугласа и Мартелла.

Подумалось: вот он делает один шаг, а за это время «Торнадо», приближаясь, одолевает совершенно не укладывающееся в голове расстояние. И на душе у Гранта стало легче.

4.

Следующим утром, немного поколебавшись, Грант снова вскрыл сразу три консервные банки и разогрел бульон.

— Пир во время чумы, — пробормотал Дуглас, но отказываться не стал.

Мартелл, блестя голодными глазами, встретил трапезу с восторгом.

— Так мы, конечно, прикончим все запасы значительно быстрее, — объявил он, — но я хотел бы, чтобы вы знали: голод человеку не столь уж и страшен. В двадцатом веке один человек, между прочим, мой соотечественник, пересек Атлантику в резиновой лодке, питаясь только тем, что мог поймать в океане. А вообще можно не есть хоть месяц и выжить. Страшно только жажда. А с водой у нас...

— По утрам бывает роса, — утешил Грант, — будем облизывать мелкие камешки. Тучи иногда собираются, может дождик пойти.

— Это заманчиво, это перспектива, — вздохнул Мартелл. — За нами прилетает корабль, и нас находят полумертвыми от голода, с мелкими камешками во ртах.

Во время сытной еды Дуглас тоже заметно повеселел.

— Или находят просто мертвыми, — вставил он, широко улыбаясь. — Это будет научная загадка: почему у нас во рту камешки? Куропатка набивает себе зоб камнями, но человек... Представляете, сколько будет споров у тех, кто нас найдет, сколько разных гипотез... Симпозиумы, конференции!

— Мы напишем предсмертную записку, где все объясним, — решил Мартелл, выскребая ложкой дно тарелки. — Незачем доставлять лишние хлопоты хорошим людям, которые так милы, что летят нам на помощь. У них и так будет полно забот. Опознать — кто из нас кто, а это сейчас нелегко, доставить тела на Землю и все такое...

— Да ты просто античный герой! — восхищенно молвил Дуглас. — Аякс! Ахилл!

— Ты специалист, твоя похвала особенно весома. Но уж какой я есть, — скромно отозвался Мартелл.

Тарелки опустели, еду запили водой. Снова становилось жарко, и они забралась под защиту палатки. Разгорался еще один день на Хуан-Фернандесе, один из многих. Все трое вытянулись на земле, глядя в бездонное небо. Где-то там, еще далеко-далеко, мчался к Хуан-Фернандесу «Торнадо». И, словно угадав мысли Гранта, Дуглас уже всерьез спросил:

— Грант! Сколько нам еще ждать?

Молодой штурман помедлил с ответом. Он покосился на высохшее лицо Дугласа — оно, как всегда, было совершенно спокойным.

— Они прилетят, — ответил он, стараясь попасть в прежний шуточный тон, — некоторое время спустя после того как мы все съедим и начнем облизывать камешки.

Дуглас не отозвался. Вместо него разговор поддержал журналист. Теперь он тоже был серьезен.

— Грант, все-таки что ты думаешь об этом корабле... чужом, который прилетал?

Штурман вздохнул.

— Что я могу думать? Говоря по правде, я до сих пор не знаю, было ли все это на самом деле.

— Гул в долине на самом деле был, — сказал Мартелл.

— И огоньки тоже, — ответил Грант. — А вот силуэт корабля... Иногда я точно знаю, что видел его, а иногда чувствую, что не могу утверждать этого наверняка. Мало ли что померещится с голода.

— Теперь, когда лагерь внизу, — произнес Дуглас, — надо бы по ночам на всякий случай дежурить. Если вдруг еще раз...

— Вот я и подежурю сегодня ночью, — сказал Грант.

Мартелл обиделся.

— И я тоже могу подежурить.

— Завтра подежуришь. У нас еще масса времени.

Некоторое время все молчали. Потом Грант сказал:

— А лучше бы нам выкинуть это из головы. Был ли тут кто или не был, это совершенно все равно, надеяться можно только на «Торнадо». Кроме него никто уж больше не прилетит, так не бывает.

— И все-таки это странно,— не унимался Мартелл. Он даже привстал, чтобы удобнее было жестикулировать.— Прилететь только на несколько часов, неизвестно зачем! Ну скажи, Грант, как специалист: за каким-таким чертом корабль садится на планету, если тут же снова улетает? Ты понимаешь, я даже не о том, что нас не спасли, просто интересно, что это за корабль такой?

— Не знаю, вроде бы действительно такого быть не должно,— чистосердечно ответил Грант.— Только не забывай, что это не земной корабль. А кроме того, эта часть Вселенной нам совершенно неизвестна. Здесь могут происходить самые непонятные вещи.

— Ойкумена,— пробормотал Дуглас.

— Ойкумена,— повторил Грант.— А вообще-то лучше бы нам всем побольше молчать. От разговоров только аппетит распаляется.

— Ладно,— проворчал Мартелл,— давайте молчать и не двигаться. Что нам остается? Они замолчали.

Сейчас еда разбирала всех троих, дала силы, но если продолжать в том же духе, запас продуктов кончится через несколько дней. Тогда наступит не жизнь впроголодь, как в первые две недели на Хуан-Фернандесе, а настоящий голод. И ничего нельзя сделать на этой бесплодной каменной планете, чтобы раздобыть хоть что-нибудь, пригодное для еды. Когда за ними прилетит «Торнадо», экипаж найдет... Нет, решил Грант, с завтрашнего дня надо будет снова перейти на строжайшую экономию. Крошечная порция на каждого, как можно меньше движения... Они уже знают: по-настоящему голод мучает только первые несколько дней. Потом наступает притупление всех чувств, вялость, апатия... Ничего уже не хочется...

Невыносимо обидно такое растительное существование, и все-таки это жизнь, а не смерть.

Грант взглянул на товарищей. Оба лежали, закрыв глаза, словно это помогало еще больше экономить силы. Выключив защитное поле, он встал и направился к «Арго».

Катер был совсем крошечным: шлюзовая рубка с тремя креслами, отсек с радиоаппаратурой. Плотнo закрыв за собой дверцу отсека, Грант опустился на место радиста. Пришло время очередного сеанса контрольной связи. Минуту спустя к спасательному кораблю умчался сигнал вызова.

Когда пришел ответ, Грант почувствовал, как сильно колотится сердце. Контрольная связь оста-

лась единственной ниточкой, соединяющей их с привычным миром, и казалось просто чудом, что здесь, на громадной каменной глыбе, какой по сути дела была планета Хуан-Фернандес, могут звучать голоса людей, ведущих нормальную, деятельную жизнь.

— Привет, Карел! — сказал Грант.— Какие новости?

Карела Стингла он знал, они вместе проходили практику на учебном полигоне пять лет назад, и сейчас Грант чувствовал радость от того, что не только слышит голос, но и может представить лицо человека, говорящего с ним. Знал он также и двух других членов экипажа «Торнадо», и это было лишним подтверждением старой космической истины, что Вселенная бесконечна, но мир тесен.

— Идем на максимуме,— ответил Карел.— Все в порядке. Задержки не будет.

Видно было, что он изо всех сил старается подбодрить Гранта.

— Новости есть,— сказал он.— Есть новая гипотеза о том, что представляет собой Голубая Дымка. Гипотеза, понятно, основана на вашем приключении. Хочешь послушать? Только она мудреная, а я не специалист.

Грант послушал и быстро понял, что он тоже не специалист.

— Что еще нового? — спросил он, раздумывая, рассказывать ли Карелу о происшествии в долине.

— Капитан Фалин, тот, что два года назад потерпел крушение на необитаемой планете в системе ТМ-82, шлет вам всем привет и добрые пожелания. Если нужны его советы, можно через «Торнадо» устроить с ним связь.

— Спасибо,— сказал Грант,— но вроде бы мы и сами знаем, как нам жить. Поблагодари. При встрече мы с ним обменяемся впечатлениями.

— Что же,— бодро произнес Карел,— тогда вычеркни из календаря еще один день. Не так уж много осталось. У вас самих ничего нового?

— Что может быть у нас нового? — сказал Грант, решив, наконец, ничего не говорить. Увиденный им корабль, огоньки в долине и ночной шум вполне могут принять за голодные галлюцинации, нервное расстройство и встревожиться за них больше, чем следовало.— Ведем растительный образ жизни.

— Бывает хуже! — бодро сказал Карел. Немного подумав, не очень уверенно добавил: — Грех вам жаловаться. Ведь вы же планету открыли!

— Ладно, завидуй,— ответил Грант и вдруг пожаловался, хотя, в общем-то, не собирался этого делать: — Ты не представляешь, Карел, до чего невыносимо лежать, лежать и ничего не делать. И знать, что ничего от тебя не зависит.

Видимо, Карел был готов рано или поздно

услышать такую жалобу. Во всяком случае ответил он без запинки:

— Ты стихи в уме сочиняй. Наверняка же влюблен в кого-нибудь!..

— Это идея,— одобрил Грант и снова представил энергичное и загорелое, как ему казалось, лицо капитана Карела Стингла, мысленно сравнив его с изможденными лицами Дугласа и Мартелла.

Он закончил сеанс связи, вернулся к палатке, снова включил защитное поле, вытянулся на земле рядом с неподвижными Дугласом и Мартеллом. И медленно, невыносимо медленно потянулось время. Если считать в сутках Хуан-Фернандеса, то шли пятнадцатые сутки робинзонады. Эти сутки были лишь немного короче земных.

5.

К исходу двадцатых суток Грант приблизился к завершению своей рифмованной автобиографии. Он пробовал строки на разный лад, шепча их запекшимися губами, искал варианты и часто сбивался, потому что снова измучился и ослабел от скудной еды. Сбившись, в который раз начал читать все с самого начала в надежде разогнаться по уже проторенной колее и с разгона преодолеть трудное место.

То, что было сочинено раньше, врезалось в память, казалось, навсегда и словно бы стерло из памяти все остальное. Во всяком случае, только одни эти стихи горели сейчас в голове Гранта; он забыл обо всем остальном, что было когда-то важным и существенным, и снова и снова твердил строки, которые в любой другой ситуации ему самому показались бы нелепыми, корявыми и наивными. Он повторял их, то беззвучно шепча, то переходя на голос, уже не заботясь, что о нем могут подумать лежащие рядом и тоже потерявшие последние силы Дуглас и Мартелл.

Самые разные картины пронеслись перед глазами Гранта вместе с этими строками, неуловимыми, напыщенными, но не казавшимися сейчас такими: вступительные экзамены на навигационные курсы, учебный центр на Марсе, а потом первая дальняя практика. И города Земли, куда он возвращался на каникулы, ее континенты, края холодные и жаркие, океаны и острова, джунгли и реки; Земля, в каждом уголке которой стремился он побывать, истосковавшись по ней в черной пустоте, снова начинавшей его манить здесь, на Земле; музыка Земли, ее книги, краски великих картин... Первый рейс с самостоятельными обязанностями... Ошибки и просчеты, исправленные теми, кто был рядом, а вместе и первые личные достижения... Самые разные люди, с какими довелось встретиться... Дорогие ему люди... «Антарктида»...

Долина снова была в полной мгле; сначала

на небе зажглись было чужие звезды, выстроив непривычный рисунок, но потом погасли, скрытые сгустившимися тучами.

И в этой чернильной мгле опять вдруг разорвалась яркая вспышка, как днем, осветившая камни и скалы, корпус «Арго», трех людей, лежащих рядом. Некоторое время спустя издали донесся глухой рокот; он был похож на затухающие раскаты грома.

Грант сел. В ярком свете, пусть и длился он короткое мгновение, сразу словно бы выцвели все строки, только что теснившиеся в голове. Сознание сразу стало ясным и напряженным. Грант ждал, что будет дальше, чувствуя, что так же напряжены и Дуглас с Мартеллом, тоже вернувшиеся из своих видений.

Через какое-то время в черной мгле снова разорвалась вспышка, и Грант вскочил на ноги. Справа от него поднялся Дуглас, а слева Мартелл, и Грант сжал обоим локти.

Из долины донеслись раскаты, похожие на гром. Грант почувствовал, что оба его спутника вздрогнули.

— Снова,— прошептал он.— Это то же самое. Сейчас я пойду в долину. Пойду один. Так будет лучше.

Новая вспышка, потом рокот. Грант впился глазами в чернильную мглу.

— Сейчас появятся огоньки,— пробормотал он.— Вы будете здесь, будете меня ждать...

Мартелл сделал движение, высвобождая локоть, но Грант только сильнее сжал пальцы.

— Будете ждать,— повторил он.— Я не знаю, что это такое, не знаю, что случится, и я пойду один, а вы будете ждать. И до тех пор, пока я не вернусь, не двинетесь с места.

Осторожно, но с силой он пригнул обоих к земле, а потом шагнул в темноту. Когда в небе взорвалась новая вспышка, Грант обернулся и увидел, что Дуглас и Мартелл, опустившись на землю, смотрят ему вслед.

В этот раз Грант был спокоен и хладнокровен. Не было смысла идти в темноту на ощупь. Он нашел шлюз «Арго», пробрался в рубку и, включив освещение, нашел мощный фонарь. Вновь выбравшись наружу, он провел длинным лучом фонаря по долине, потом опустил круг света под ноги и пошел.

Волнения почему-то не было. Вспышки непонятного происхождения, шум, изредка раздававшийся в долине, и то неведомое, что ждало впереди, представлялись сами собой разумееющимися; по-видимому, в глубине души он ждал, что, случившись однажды, все это должно повториться, и уже настроился на встречу с неизвестным, тем более что пока все происходило точно так же, как в первый раз.

Впереди, где-то в центре долины, появились прежние блуждающие огоньки. Грант быстро шел к ним, почти не чувствуя боли в колене.

Он знал, что в этот раз, когда среди огоньков проявится корпус чужого корабля, он успеет подойти к нему.

Что должно было произойти потом?

Об этом Грант не думал в те минуты; прежде всего надо было подойти, дальше все должно было определиться само собой. Интересно, крутилось у него в голове, это тот же самый корабль, что прежде, или какой-то другой?

Когда впереди в хороводе огоньков действительно проявился темный контур корабля, Грант прибавил шагу. Иногда он поднимал фонарь и посылал в сторону корабля сигналы, на которые пока никто не отвечал. В темноте трудно было определить расстояние до силуэта. Если он не успеет дойти, подумал вдруг Грант, и они улетят, завтра ему опять не найти места, где был корабль. Но только он успеет, в этот раз успеет...

Он успел гораздо раньше, чем предполагал. Корабль — еще мгновение назад казалось, что он далеко, — вдруг оказался прямо перед Грантом, и от неожиданности он остановился, как будто наткнулся на невидимую преграду. Только теперь он почувствовал, как бешено бьется сердце, и почему-то погасил фонарь. Медленно, осторожно Грант пошел вдоль чужого корабля.

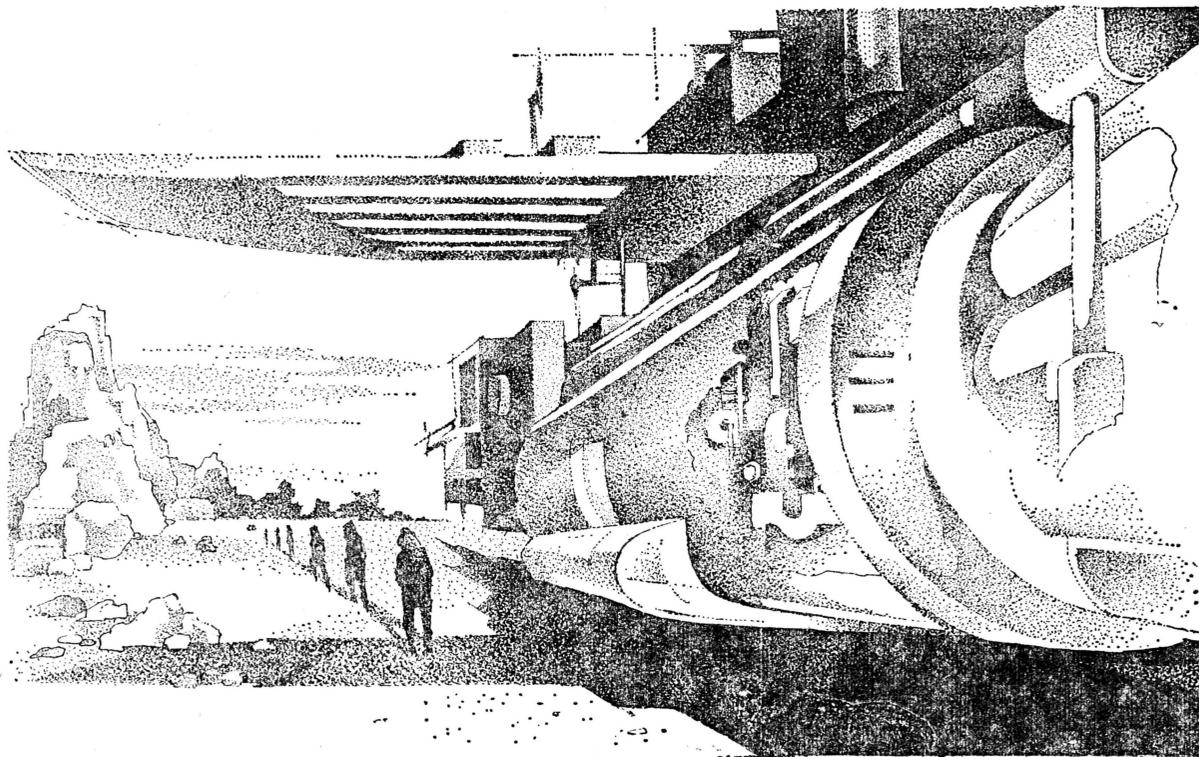
Корабль был большим, не меньше «Антарктиды», только совершенно на нее непохожим. Во-первых, — удивительный факт, — он был наполовину прозрачным, и сквозь его стены можно

было видеть как бы подсвеченную изнутри непонятную мешанину из непонятных деталей. Вторых, формы его были совершенно лишены привычной и, казалось, необходимой обтекаемости; линии были очерчены прямолинейно и даже грубо. И вместе с тем, как ни странно, во всем облике сооружения угадывались мощь и стремительность.

То, что произошло дальше, Грант никак не мог вспомнить позже с полной отчетливостью. Память по непонятной причине сохранила только какой-то калейдоскоп впечатлений, перемешанных самым причудливым образом. Но у этого мелькания были определенное начало и определенный конец, была какая-то последовательность; и сперва Грант увидел, как в стене корабля открылся проем и наружу длинной чередой стали выходить фигурки в скафандрах, направляющиеся к россыпи больших камней неподалеку. Призрачные огоньки, что повсюду мелькали до этого, теперь слились в единое облако света, хорошо озаряющее окрестности.

Стоя в темноте, Грант некоторое время наблюдал за фигурками.

Насколько можно было судить издали, фигурки имели полное сходство с человеческими и примерно такой же рост. Даже скафандры напоминали те, что были на катере «Арго». Пришельцев было много; вереница фигурок, выходящих из корабля, никак не прерывалась. Сразу



же Гранта удивила поразительная целеустремленность процессии: неизвестные шли быстро, как будто стремились тут же выполнить какое-то определенное и хорошо им знакомое дело.

Медленно и осторожно, с выключенным фонарем, Грант двинулся к этой таинственной процессии, представляя, как все сейчас произойдет. Он, человек Земли, и эти неведомые существа, очевидно, стояли на близких ступенях развития; вероятнее всего, они немного опережали землян, слишком необычно, не как земные, чужой корабль совершил посадку. Землянам еще не доводилось встречаться с такими цивилизациями, все открытые прежде стояли ниже. И значит...

Чувствуя, как не затихая колотится сердце, Грант подошел все ближе. Вереница фигурок наконец прекратилась; они окружили один из больших камней и застыли, словно ожидали чего-то. Через несколько мгновений Грант был уже совсем рядом с ними, он уже вступил в облако света...

Но в этот момент и начался необыкновенный kaleйдоскоп впечатлений.

Снова наступили полная темнота и тишина. Потом словно вдруг что-то открылось внутри Гранта, спала пелена с глаз и ушей, и в душу ворвалась величавая мелодия красок и звуков. Сначала ему показалось: перед глазами проходят одна за другой картины живописцев прошлого, сопровождаемые музыкой, но он тут же понял, что на самом деле не видит этих картин, они появляются внутри него самого и не статичны, как настоящие картины, а наполнены живым действием и странным образом связаны с ним самим. Эти картины вместе с тем не были конкретными и определенными; просто буйство красок и звуков рождало неясные ассоциации и что-то такое извлекало из него, открывало в нем для него же самого, о чем он и не подозревал прежде.

В его сознании качались зеленые ветви сосен на фоне ослепительного и бездонного неба, и он вдруг припомнил, как любил смотреть на них в детстве, лежа где-нибудь на теплой траве лесной поляны и мечтая о том, что предстоит сделать, и представляя, каким он станет. Он слышал шум разбивающихся о камни волн и чувствовал на лице их брызги, и в то же время словно бы флейта играла на берегу, и мелодия звала куда-то далеко-далеко, туда, где он никогда не бывал, но где столько интересного и неизвестного.

Ему вдруг припомнились одновременно тысячи лиц людей, с которыми случалось встречаться, и многие были уже позабыты, но всплыли в памяти снова; они говорили ему что-то наперебой, слов, конечно, нельзя было понять, но совершенно ясен был главный их смысл, тот смысл, что заставляет человека идти вперед и делать завтра то, чего не мог сделать сегодня, потому что завтра он будет знать больше, боль-

(14) ше будет уметь и сам станет другим — мудрее и лучше.

Он почувствовал, что не стоит на земле, а парит в потоках теплого воздуха высоко-высоко и одновременно видит сверху и то, что осталось за спиной, и то, над чем он еще пролетит. Он летел, и ощущение невесомости дарило уверенность в том, что все в его руках, он может сделать все, что только захочет, все ему по плечу, на что ни замахнись. И он поднимался все выше и выше, потому что ему хотелось увидеть сверху как можно больше. Внизу искрились радостные, бодрящие краски, но когда он был на самом верху, они стали сливаться в один цвет, ярко-оранжевый, самый бодрящий и радостный; и в этот момент все исчезло. Сначала было темно, а потом перед глазами снова появились фигурки в скафандрах, прежней вереницей переходящие к соседнему камню.

У Гранта бешено колотилось сердце. Ошеломленный, потрясенный, он все еще переживал этот необыкновенный и никогда не испытанный прежде тугой комок ощущений — полет, дерзкое устремление вперед, осознание могучих сил, таящихся внутри и жаждущих освобождения, чтобы совершить невероятное. Он пришел в себя не сразу и не сразу вспомнил, зачем он здесь, неподалеку от неизвестного корабля и фигурок в скафандрах, уже вставших в кружок возле второго камня и почему-то не обращавших на него никакого внимания. Грант пошел к ним, но едва успел сделать несколько шагов, как снова все исчезло, и наступили мрак и пустота, за которыми потом пришли новые краски, звуки и ощущения.

Краски теперь были резкими и рождали в душе жгучее недовольство. Грант бился над решением какой-то задачи, решение было совсем близко, но все ускользало, никак не даваясь. Мысли были неуклюжими и медленными, как будто к ним привязали гири.

Затем Грант почувствовал себя среди бурного, сбивающего с ног потока; надо было во что бы то ни стало преодолеть его, а он не мог сдвинуться с места. Еще несколько мгновений безрезультатной борьбы, и Грант ясно ощутил, что разделился на несколько частей и одновременно шел по разным дорогам, ведущим в разные стороны. Только одна дорога была правильной, однако по ней он двигался гораздо медленнее, чем по всем остальным. С ужасающей отчетливостью он понимал, что делает совсем не то, что надо было делать, но ничего не мог исправить; в то время как он все быстрее двигался по неверным дорогам, на единственно правильном пути все больше замедлялся его шаг, и наконец он совсем застыл на месте. В душе Гранта мрачной волной нарастало недовольство собой, оно заглушало все остальные чувства, вырастая до никогда не испытанных прежде пределов. Все,

что было сделано в жизни не так, как следовало, все упущенные возможности, неверные поступки, ошибки, осознанные и неаявные, все это слилось в зловещий клубок, который становился все больше в размерах и тяжелее, пока наконец не взорвался чернильными брызгами, тут же слившимися в одно черное пятно.

В следующий миг Грант снова увидел то, что было реальным: чужой корабль неподалеку и его загадочных хозяев, которые теперь уже выстраивались возле третьего камня. Обхватив руками пылающую голову, Грант некоторое время стоял неподвижно. Жгучее недовольство собой, желание немедленно, прямо на месте переиначить все, что когда-либо было сделано не так, не уходило, и не сразу он пришел в себя. Шатаясь, уже не думая ни о чем, ничего не пытаясь понять, Грант выкрикнул что-то неясное ему самому и снова пошел к пришельцам, но опять, как только приблизился к ним, глаза и уши ему закрыла черная непроницаемая пелена.

На этот раз она размылась не сразу, а постепенно. Очень мирными и спокойными были проявляющиеся ощущения, краски и звуки.

Звуки были похожи на шум ласкового летнего дождя, когда на небе вроде бы нет даже туч, а он все равно идет, и люди, попав под него, по-доброму улыбаются.

Мир теперь был наполнен зеленым цветом, но зелень была не сплошной, а делилась на множество тонких оттенков, каких не различит обыкновенный человек, но легко улавливает изощренный глаз художника. Хорошо было окунуться в это спокойное море зелени! Оно рождало в душе полное умиротворение, ощущение абсолютно отдыха, когда забывается все, что тревожит, печалит, грызет. Это ощущение хотелось продлить до бесконечности, никогда не вырывая из него. Но краски стали бледнеть, звуки гаснуть, и Грант опять стоял в бесплодной долине чужой планеты, среди камней, рядом с которыми ходили неизвестно откуда прилетевшие существа в скафандрах.

Теперь Грант не испытывал такого потрясения, как прежде, на душе было все так же спокойно и легко, и это дало ему возможность впервые как следует разглядеть пришельцев. Под прозрачными шлемами видны были головы, отличающиеся от человеческих разве что только формой: почти идеально шарообразные. Круглые лица с привычными двумя глазами, носом и ртом казались из-за этого воплощением добродушия. Грант успел еще удивиться тому, что на него эти существа, уже окружившие четвертый камень, не обращали ровным счетом никакого внимания, но в тот же миг снова был сначала накрыт черной пеленой, а потом подхвачен водоворотом густо концентрированных чувств и ощущений, которые в этот раз оказались гораздо более сложными и никогда не изведенными раньше.

В них совершенно нельзя было разобраться, они давили и мучили, и Грант вынырнул из них опустошенным и безмерно уставшим. Подгибались ноги, будто он только что совершил какую-то геркулесову работу, и градом катил пот со лба, а в голове тяжело ворочался свинцовый ком. Больше всего хотелось лечь навзничь и закрыть глаза.

Но шеренга фигурок уже окружала новый камень, и внутри Гранта опять что-то отворилось для новых красок и ощущений...

А потом — сколько прошло времени, он не знал, потому что все происходило как бы вне времени, — Грант почувствовал, что у него совершенно нет сил. Он не мог больше двигаться, не мог думать. Все, что он испытал, переходя от камня к камню вслед за вереницей пришельцев, сложилось в груз, какого он не мог выдержать. Сквозь душу пронесся необыкновенный вихрь, чувства, абсолютно незнакомые, неведомые раньше, чередовались с простыми и понятными, но обостренными до необыкновенных пределов — добротой, нежностью, гневом, отчаянием, восторгом...

И стоя возле последнего из камней, на краю их россыпи, задавленный всем пережитым, Грант неподвижным взглядом провожал фигурки в скафандрах, уходящие к своему кораблю и становившиеся все меньше. Каким-то уголком мозга, чудом сохранившего еще способность рождать мысли, Грант понимал: надо догнать их, потому что сейчас они уйдут совсем, корабль улетит, и все-таки он стоял на месте, сжав ладонями виски, и продолжал прислушиваться к тому, что происходило в душе. И вдруг он постиг, какие следы оставила пронесшаяся в ней буря: он понял, что стал добрее, чище, мудрее, сильнее, лучше, как бывает после общения с возвышенным, прекрасным...

Все меньше и меньше становились фигурки: вот последняя из них скрылась внутри корабля. Минутная пауза, и силуэт его медленно растворился в воздухе. Облачко света, озарявшее окрестности, опять распалось на отдельные бегающие светлячки, но и они вскоре погасли, оставив Гранта в крошечной тьме.

Не сразу он вспомнил, что держит в руках фонарь, и не сразу догадался его включить. Луч света ткнулся в темную поверхность камня. Ни о чем не думая, двигаясь, как автомат, Грант обошел камень со всех сторон. Сам себе не отдавая отчета, он искал в нем нечто необычное, особенное, но не смог ничего найти. Грант пошел к другому камню, но и тот был самым обычным огромным булыжником, таким же, как и третий, и четвертый, и пятый...

6.

Когда пришел рассвет, Грант все еще бродил среди камней. В этот раз он не искал каких-либо

следов пришельцев, хотя теперь точно знал место, где стоял их корабль. Он просто смотрел на камни, потому что чувствовал: все испытанное им, свалившееся на него каким-то непостижимым образом, связано с этими унылыми серыми громадами, разбросанными как попало. Он пока не искал объяснений тому, что произошло, не строил гипотез, а лишь следил за тем, как все, что легло на душу и вызвало безмерную усталость и опустошенность, постепенно уступает место ощущениям никогда прежде не испытанной силы, доброты, чистоты. Это было чувство редчайшего, ни с чем не сравнимого подъема.

Ушли куда-то все пережитые на Хуан-Фернандесе тягости, словно их не было никогда, впереди простиралось бескрайнее поле несовершенного, но не существовало ничего невозможного — любая цель была по плечу. Этими чувствами, всем пережитым хотелось немедленно поделиться с двумя другими людьми, ждущими его возвращения, и все-таки Грант еще долго сидел на одном из камней, следя за тем, как разгорается новый день, словно боялся, уйдя отсюда, потерять все, что приобрел здесь.

Но когда стало совсем светло, он увидел, что Дуглас и Мартелл сами бредут к нему по долине, не выдержав пытки неизвестностью. Он вскочил с камня и бросился им навстречу.

С минуту они стояли друг против друга, и Гранту вдруг будто впервые открылось, как измучены и истощены его друзья. У них лихорадочно горели глаза, в волосах Мартелла, да и в бороде, появилась обширная седина, куртки и брюки висели на обоих как балахоны и, наверное, мешали им передвигаться. Возможно, и сам он выглядел примерно так же.

— Ну? — выдавил из себя Мартелл.

— Они были, но опять улетели, — спокойно ответил Грант, чувствуя, какими нелепыми покажутся такие слова Дугласу и Мартеллу. — Я стоял совсем рядом с ними. Мы вместе ходили среди камней. Потом они улетели, но сейчас это не главное.

— Что ты говоришь? — растерянно спросил Дуглас и взглянул на Мартелла.

Сбиваясь, ясно понимая, что говорит совсем не то, потому что не хватает слов, Грант стал рассказывать. Он пытался передать необыкновенные чувства, испытанные им, никак не мог этого сделать и видел лица Мартелла и Дугласа во время своего рассказа. Наконец он махнул рукой и просто сказал:

— Я вижу, что ничего не могу объяснить. Ну да ладно! Когда немного успокоюсь, попробую сделать это еще раз. А пока — пошли в лагерь.

День на Хуан-Фернандесе разгорался все сильнее, и Солнце Матроса Селкирка с новой яростью обрушило на долину потоки зноя, а Грант словно не замечал жары. Он шагал легко и быстро и совсем не чувствовал боли в колене.

191 Дуглас и Мартелл, немного отстав, о чем-то вполголоса говорили, и Грант вдруг понял, о чем. С широкой улыбкой он обернулся и воскликнул:

— Нет-нет! Со мной ничего не произошло, вы не опасайтесь за мой рассудок. Все, о чем я рассказывал, было на самом деле. Вы мне только дайте немного времени, я все обдумаю; разберусь в себе, и тогда мы поговорим.

До лагеря они дошли молча и сразу же нырнули под защиту палатки. Грант все еще переживал чувство великого подъема, но оно не было ровным и постоянным, а все время меняло оттенки, за ними трудно было уследить. Поглядывая на изможденных, осунувшихся друзей, он никак не мог поверить, что и сам сейчас, конечно же, выглядит точно так же.

Он перехватил взгляд Мартелла, брошенный в ту сторону, где хранились продукты, и спохватился. Удивительное дело: самому ему совсем не хотелось есть. Он достал консервную банку и поболтал в воздухе флягой с водою: ее оставалось совсем немного, и это было скверно. Но самому Гранту и пить сейчас не хотелось, хотя муки жажды уже были ему знакомы.

— Ешьте, — сказал Грант, — а я не хочу. — И добавил, перехватив взгляды: — В самом деле не хочу.

Банку историк и журналист съели в полном молчании. Еду запили крошечными порциями воды.

— Свяжусь со Стинглом, — сказал Грант и пошел к «Арго».

По пути он вновь размышлял: говорить ли Стинглу о необыкновенных событиях на Хуан-Фернандесе? По всем законам космического долга должен был все рассказать. И в то же время он знал, что Стингл точно так же ничего не поймет и ничему не поверит, как Дуглас с Мартеллом: в большом мире это только вызовет ненужное беспокойство за них. К тому же... С помощью какого-то шестого чувства, еще и сам не поняв ровным счетом ничего из того, что с ним произошло, Грант уже знал, что пережитое им приключение не последнее, что странные существа и еще прилетят на Хуан-Фернандес, раз уж побывали здесь дважды. Почему-то он твердо это знал.

А разобраться в том, что все это значит, ему помогут историк и журналист. Они сами, втроем, должны во всем разобраться.

Стинглу Грант ничего не сказал, обменялся с ним обычными фразами и узнал, что «Торнадо» должен достичь Хуан-Фернандеса через четверта сорок два земных часа. Впрочем, это он легко мог сосчитать и сам.

Попрощавшись с капитаном, Грант вернулся к палатке. Пока его не было, Дуглас и Мартелл о чем-то вполголоса переговаривались. Услышав шаги, они замолчали. На мгновение Гранту даже

стало весело: оба, без сомнения, были убеждены, что что-то случилось с его рассудком, и беспокоились за него. Но он-то снова был прежним Грантом, и теперь пришло время подумать обо всех этих ночных чудесах всерьез.

— Бросьте,— сказал Грант,— нечего шептаться у меня за спиной. Если вы думаете, что я слегка повредился, то вряд ли вы правы. Давайте поговорим серьезно и спокойно, потому что тут и в самом деле много непонятного. Разбираться нам надо вместе.

Он опустил на землю и включил защиту палатки.

— Начнем с начала! Итак, на эту таинственную планету, пока мы здесь находимся, дважды прилетали неизвестные корабли. Я, по крайней мере, видел их дважды. Не исключено, что это был один и тот же корабль.

— Этой ночью мы тоже видели корабль совершенно отчетливо,— сказал Дуглас.— Какое-то время он стоял неподвижно, а потом исчез. А ты все не возвращался, и нам стало страшно за тебя.

— Значит, это было на самом деле. Галлюцинации не бывают массовыми,— кивнул Грант.— Значит, сегодня ночью корабль прилетал на самом деле. И, говоря языком выпреним, событие это исключительное, потому что у нас еще не было контакта с цивилизацией, столь же свободно путешествующей во Вселенной, как мы. Скорее всего, по уровню они даже опережают нас. Событие исключительное, и, если б мы не

171
ослабли так от голода, видимо, испытали бы гораздо больше волнений и эмоций, хотя и так без этого не обошлось. Хорошо. Что вы еще видели издали?

— Светлое пятно,— сказал Мартелл.— Светлое пятно, немного приподнятое над долиной.

— Так и было. И в общем, пока ничего невозможного в этом нет. Необъяснимое началось дальше, необъяснимое случилось со мной. Итак...

Дуглас и Мартелл слушали с напряженным вниманием.

— Итак, я увидел фигурки в скафандрах, очень похожие на землян... Здесь тоже еще не было ничего необычного, потому что на корабле должен был кто-то прилететь, а представители многих известных нам цивилизаций внешне похожи на нас... И я пошел к ним, но они меня не заметили. Почему? Вот это уже понять труднее. Если я видел их отчетливо, почему они не видели меня? А когда мы вместе подошли к одному из камней, вдруг все пропало, и я почувствовал...

Нет! Даже сейчас, успокоившись, Грант не мог найти точных слов, дающих представление о том, что он почувствовал.

— В общем,— помог ему Дуглас,— если мы правильно поняли все, что ты говорил раньше, ты почувствовал наваждение.

— Нет,— сказал Грант,— но, впрочем, да... И все-таки нет. Понимаешь, наваждение — это когда... а здесь... Но, пожалуй, этим словом в самом деле можно условно пользоваться. Зна-

«Аэлита» — 89



чит, я почувствовал наваждение... Здесь возникает очень много вопросов. Первый — что было причиной наваждения? Второй — почему оно прошло? Третий — почему потом пришло наваждение номер два?

Он покрутил головой.

— Да нет, все-таки нельзя называть это наваждением! Это что-то другое, такое, чего еще никто не испытывал. Хотел бы я, чтобы и вы это пережили, мы лучше поняли бы друг друга.

— Возможно, — пробормотал Дуглас, — нам еще и представится такой случай...

Наступила тишина. Трое людей, чудом заброшенных туда, где до них не был никто из землян, остро почувствовали свое одиночество и беспомощность перед лицом необъяснимого. Чужие и беззащитные в этом мире, ни припасов, ни оружия, — само их существование висело на волоске, — с остальными людьми связанные только хрупкой ниточкой радиосвязи да надеждой на «Торнадо», до прибытия которого оставалось больше четырехсот часов... Бог знает, сколько всего могло случиться за это время!

Грант первым стряхнул с себя гнетущее ощущение. В конце концов, он профессионал космоса, а Дуглас и Мартелл только туристы, на долю которых выпали неожиданные события, и сейчас он должен помочь им взять себя в руки.

— И наконец еще вопрос, — бодро сказал Грант. — Совершенно неясно, зачем они прилетели сюда на такой короткий срок? Так было и в первый раз, и сейчас.

Мартелл встряхнул головой.

— Что они делали тут в первый раз — мы не знаем, — сказал он. — А сейчас, как ты говоришь, было так: они прошлись среди камней — и сразу же улетели?

— Даже не улетели. Если точнее, их корабль растворился в воздухе, и я остался один. И если теперь разбираться во всем хладнокровно, я был совершенно потрясен всем этим... всеми этими наваждениями. Надо сказать, что я... Я словно бы стал другим — лучше, сильнее... я словно очистился...

— Катарсис, — пробормотал Дуглас.

— Может быть, все это просто-напросто какой-то гипноз? — спросил Мартелл. — Очень похоже, во всяком случае.

— Зачем? С какой целью? К тому же это совсем не было похоже на гипноз.

— Словом, ничего нельзя понять, — сказал Дуглас. — Прежде, как мы знаем из новейшей истории, при встрече землян с другими цивилизациями все обстояло довольно обыкновенно — так, как все это себе и можно было представить. Не существовало ничего необъяснимого, и теперь уже накоплен немалый опыт, есть даже твердо установленные правила...

— Все встреченные прежде цивилизации уступали нам по уровню развития, — сказал Грант. —

181 А вот эти... возможно, ушли далеко вперед. И здесь уж ничего нельзя представить заранее.

— Может быть, так, — заговорил Мартелл, — но почему же они не обратили на тебя никакого внимания? Словно тебя и не было рядом с ними? А ведь земляне, даже встретив цивилизацию значительно отставшую, все-таки замечают ее представителей.

— Вот этого я не знаю! — ответил Дуглас и почувствовал, что вся логика их рассуждений сворачивает в тупик, из которого нет выхода. Да, собственно, так и должно было быть, потому что все оставалось необъясненным.

— Грант, так ты уверен, что у каждого камня было свое наваждение? — спросил Дуглас.

— Уверен! На это я сразу же обратил внимание. И однако это самые обыкновенные камни. Я их все потом обошел.

— Тогда, — сказал Дуглас, — вполне возможно, что эти камни тут совсем ни при чем.

— И так же вполне возможно, — подхватил Мартелл, — что до прилета «Торнадо» мы так ничего и не узнаем.

— На «Торнадо» летят такие же люди, как мы, — сказал Грант. — Может быть, мы ничего не узнаем, даже когда они прилетят. Вдобавок, насколько я знаю, «Торнадо» может задержаться здесь только на несколько часов. Иначе, по навигационным причинам, громадный проигрыш во времени на обратном пути.

Они замолчали и одновременно взглянули в ту сторону, где ночью творилось неведомое. Пустой и безжизненной, как всегда, была долина, и камни, разбросанные по ней повсюду, большие и маленькие, не скрывали в себе на вид ничего примечательного. Снова наступила долгая тишина, которую потом нарушил Дуглас.

— Хорошо, что все это было, — сказал он. — Теперь у нас есть загадка, мы можем думать над ней, у нас появилась какая-то определенная цель. А это гораздо лучше, чем просто ждать, таять от голода и ничего не делать.

— Таинственный остров, — непривычно медленно проговорил Мартелл. — Таинственный остров... Пока все очень похоже на роман: робинзоны, только космические, и тайна острова, только тоже космического — планеты...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ



«ВЫ ЗАТЕЯЛИ ХОРОШЕЕ ДЕЛО...»

В прошлогоднем августовском номере мы обратились к читателям с заманчивым, как нам показалось, предложением: не дожидаясь, пока раскачаются (и — раскочаются ли?) на то наши издатели, собственными силами создать — для начала хотя бы краткую — энциклопедию фантастики (КЭВ).

Предложение оказалось и впрямь заманчивым! Многие десятки писем-откликов пришли в редакцию в течение сентября — октября. Равнодушных нет: читатели горячо одобряют идею КЭФ, обсуждают предложенный нами словник на «А», сокращают его и дополняют, продолжают на следующие буквы, шлют готовые статьи, торопят: вся страна перестраивается, все журналы; посмотрите, как рьяно — по десятку страниц в номере, да еще и с цветной вкладкой! — печатает свою рок-энциклопедию столь вроде бы далекий прежде от удовлетворения музыкальных потребностей молодежи журнал «В мире книг», а вы!.. Лишь во втором полугодии начнете... да еще «через час по чайной ложке» — по листку на номер... когда же закончите-то? В 2000 году?!.. («Наша страна решит жилищный вопрос, возможно — и продовольственный, моя дочь закончит среднюю школу, а вы только-только подойдете к букве Я...»).

Нас и самих смущает и всерьез озадачивает глобальный характер затеянного предприятия. Нам и самим очень хотелось бы, во-первых, уже сегодня держать в руках готовую — от А до Я! — типографски отпечатанную «КЭФ», а во-вторых... да отчего же — «КЭФ»? Отчего — краткую-то?! Ведь так хочется (а порою и требуется) знать как можно больше и об авторах, и о проработке отдельных тем, и о третьем-пятом-десятом...

Но, к сожалению, нам не перепрыгнуть через самое существенное для нас препятствие: журнал наш тонок, на увеличение его объема

мы, будучи реалистами, уповать не вправе; а адресуется-то он отнюдь не только любителям фантастики! (В скобках заметим, пресекая многочисленные — подчас экстремистски жесткие — предложения о превращении «У. С.» в журнал фантастики: нет, друзья и товарищи дорогие, это — не для нас. Журнал наш вполне сложился за долгие и трудные свои тридцать лет, кардинально менять его облик мы и не будем, и не хотим. И пусть появятся специальные НФ журналы — один, два, пять... — вопреки мнению иных наших корреспондентов, ничуть не огорчимся, будем совершенно искренне рады; конкурировать же с ними... Постараемся отыскать свою собственную тропу — наиболее отвечающую общему профилю журнала.)

Но мы и сегодня не видим альтернативы; положение фантастики «в издательских измерениях» если и изменилось, так самую малость: порадовать нас выпуском КЭФ никто не торопится.

Стало быть, нам и впрямь самим следует позаботиться об удовлетворении наших запросов.

Что ж, давайте же и впрямь — попробуем!

В папке с надписью «КЭФ» у нас уже собралось свыше полусотни (не считая вариантов) статей на букву А; есть задел и на последующие буквы. Представляется вполне реальным начать публикацию КЭФ во втором полугодии.

Чуть ниже мы приведем дополнения к опубликованному нами словнику.

Предварительно же ответим, с одной стороны, тем нашим читателям, кто предлагает исключить из него общеупотребительные слова, с другой же стороны — тем, кто в своих разработках дает им вот эту самую, общеупотребительную, трактовку: слова эти предложены нами для толкования их именно (и только!) в связи с фантастикой! Что

такое, к примеру, «анабиоз» или «аномалия» с точки зрения науки — любой из нас может (при желании) прочитать в энциклопедиях, в популярной и специальной литературе. Но вот о том, как в фантастике освещаются многообразные аспекты анабиоза, как в ней, в фантастике, преломляются парадоксы аномалии — ни в каком справочнике (кроме как, надеемся, в будущей нашей КЭФ!) вы не прочтете. Вот такое-то специальное освещение самых заурядных, казалось бы, терминов нам и нужно!

Отметим еще, что кое-кому из читателей наших кажется слишком скучным само это название — КЭФ, Краткая Энциклопедия Фантастики... Что ж, если кто-то предложит иное (более веселое, не засушенное) наименование — с удовольствием превратим вот это КЭФ в подзаголовок. Но — поторопитесь: мы вот-вот поручим художникам рисовать обложку для нашей энциклопедии...

И последнее. Мы забыли упомянуть в своей «ориентировке»: если по теме словарной статьи имеется литература — непременно указывайте ее, укажем ее и мы.

А теперь — принятые нами дополнения к словнику (те, к которым уже получены готовые статьи, нами опущены):

Адабашев И. И.
Азимова А. законы
Аксаков К. С.
Амброзия
«Аналог»
Анар
Андерсен Х. К.
Анкаб В.
Анфилов Г. Б.
Апулей
Апухтин А. Н.
Аргонавты
Аристофан
Аркадия
Арлазоров М. С.
Артефакт
Артур (король)
Архетипы
Арцеулов К. К.
Асенин С. В.
Астральные мифы
Астронавигация

Фантастика под микроскопом

Викторина-89

Наша викторина продолжает эволюционировать.

В первом ее туре — два варианта. Первый из них идентичен прошлогоднему и содержит 10 вопросов, в свою очередь имеющих по два варианта: отвечая, вы у каждого из вопросов вправе выбрать любой вариант. Вопросы 1—9 оценены нами в 2 балла каждый, а 10-й, содержащий четыре конкретных задания, может принести вам 8 очков. Тур 1-Б при полном ответе на него дает те же 26 баллов, что и А-1: в нем тоже в общей сложности 13 конкретных заданий.

Второй тур требует кропотливой, особо внимательной работы с материалом — самой фантастикой, ее биографиями. Здесь три варианта. Каждое название в первых двух приносит 0,1 балла; в случае неравноценности этих вариантов мы, как и в прошлом году, прибегнем к спасительному коэффициенту. «Стоимость» каждой позиции в третьем варианте мы выясним при подведении итогов тура: максимальное количество баллов, набранных в вариантах А-Б, нужно будет поделить на максимум, достигнутый участниками «круиза».

Третий тур требует развернутых ответов; оценка здесь будет зависеть от полноты ответа, его аргументированности, стиля и языка.

В зачет читателям-одиночкам в каждом туре будет идти лишь один вариант. Если вы отвечаете вдвоем [втроем] — вам необходимо выполнить двойную [тройную] норму заданий в каждом туре; кабранная при этом общая сумма очков будет автоматически поделена между вами.

Контрольный срок для отправки ответов на все три тура — единый: 15 мая; за каждую просроченную неделю с результата снимается по 2 балла; ответы, отосланные после 12 июня, оцениваться не будут.

Просьба: указывайте свой возраст [а школьники — класс, в котором учитесь], не прычте за инициалами свое имя и отчество, ставьте в письме дату его отправки; почтовый штемпель зачастую неразборчив.

Каждому победителю викторины [мы определим их по итогам всех туров] будет выслана книга с авторграфом отечественного писателя-фантаста.

Вниманию тех, кто не попадет в список призеров (и не попадал в него в 1987—1988 годах): участвуя в трех викторинах подряд, вы включаетесь — с набранной в них общей

суммой очков — в борьбу за специальный приз: «за упорство и волю к победе».

Авторы вопросов викторины-89: Л. Абдулин [Безречная Читинской обл.], Д. Аптин [Кушва Свердловской обл.], А. Борисов [Кострома], В. Бриллиантов [Волоколамск Московской обл.], Н. Дмитриева [Донецк], Ю. Ковалев [Тбилиси], А. Кристаллов [Саратов], Г. Лукин [Семеновка Целиноградской обл.], Р. Мазитов [Салават БашАССР], С. Макаров [Саратов], К. Максимов [Киров], Л. Манжетов [Москва], О. Микитченко [Семипалатинск], О. Милосердов [Ульяновск], Я. Полищук [Алма-Ата], А. Сауткин [Мурманск], В. Сиземов [Новосибирск], А. Сухов [Боровск Калужской обл.], А. Тильман [Орел], О. Федоркин [Мытищи Московской обл.], А. Фисенко [Липецк], В. Чурсин [Владивосток], А. Шульга [Магнитогорск], В. Юрьев [Энгельс Саратовской обл.].

Автора тура 1-Б мы раскроем при подведении итогов.

I-A.

1. А) «Облачившись, я встал перед большим зеркалом. Зрелище было страшноватое, но я остался доволен. Хвост тянул мое туловище назад и книзу, отчего походка у меня стала утиной, вперевалку, но это только усиливало сходство с ящером». Откуда взят отрывок?

Б) «Возможно, вы еще помните, как был удивлен мир, когда первая экспедиция на Марс обнаружила следы не одной, а двух древних цивилизаций». Из какого произведения эта цитата?

2. А) «— Кошмар! На что мне сдался семнадцатый век?.. Мне и в двадцатом было неплохо. А здесь мы будем иметь массу неприятностей. Это я вам точно говорю...» Чьи это слова и откуда взяты?

Б) «Единственное различие между Временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется по нему». Из какого произведения эта цитата?

3. А) «Бластеры — это лучи полного уничтожения, которые устреляют с пути космических кораблей непокорные метеориты, когда с теми не справляются отражатели. Создавали их не для военных целей, но

они вполне могли служить оружием». Где можно найти это описание?

Б) «Фокусник щелкнул пальцами, достал из воздуха черную коробочку, разделил ее на две части и развел их во весь размах. Радуга повисла над корзиной, и в воздухе запахло свежестью, мелкие капли прохладного дождика увлажнили виноград». Из какого произведения эта сцена?

4. А) «Помню, в одной старой книге была смешная история о големом человеке, который ненароком захлопнул за собой дверь...» О какой «старой книге» речь — и в каком произведении?

Б) «— Как тебе нравится моя обновка? — смеялся СОКРАТ. — Я трудился над ней всю ночь. И здорово проголодался». Известен ли вам данный СОКРАТ?

5. А) «— Сколько вам сейчас? — Сколько сейчас? — Он поднял голову и уперся взглядом в низкий потолок. — Когда началась эта заваруха, было пятьдесят. С тех пор прошло двадцать лет, значит, примерно шестьдесят пять или шестьдесят семь». Откуда этот диалог?

Б) «По песку идти было трудно. Почему это в космосе так много планет, на которых нет ничего, кроме песка?» Где приведено столь меткое замечание?

6. А) «Ксиллы, как правило, строят по одному образцу. Они имеют форму диска, диаметр их колеблется от 15 до 150 метров, а толщина в середине — от 2 до 18 метров». Из какого произведения эта цитата?

Б) «Триста лет назад группка божавших с Земли авантюристов, не примирившись с созданием всеземного коммунистического правительства, учредила на Нептуне свою колонию. Беглецы, вооруженные аннигиляторами, долго не подпускали к планете земные корабли. Капитулировали они лишь когда убедились, что без помощи Земли погибнут от голода и вырождения...» Где приведена эта версия начала колонизации планеты Нептун?

7. А) Не встречался ли вам в НФ «метод Каспаро-Карпова»?

Б) Кто такой — и где проживает — Синити Комацу?

8. А) «Почему он передает музыку?» — спросил меня нагруппы запчастей. «А ты уверен, что это только музыка?» — сказал я ему». Откуда взят этот диалог?

Б) «Профессор Петров высказал свои сомнения насчет эльберфельдских лошадей, которые якобы умели не только считать, но даже возводить в степень и извлекать корни; ведь даже средний образованный человек не умеет извлекать корни, заметил ученый». Где приведены столь резонные соображения?

9. А) «Я отправился в ее комнату и посмотрел вдоль царапины, которую провел на подоконнике. Она действительно указывала прямо на башню. И я увидел кое-что еще. На башне развевались два флага. Будь там один флаг, это могло оказаться простой случайностью, но два явно означали сигнал...» Кому и в каком произведении этот сигнал предназначен?

Б) «— Нет, но у меня возникают сомнения. Почему у одних животных восемь ног, у других — шесть, а третьи обходятся четырьмя?» Где прозвучала эта мудрая реплика?

10. А) Из каких произведений взяты следующие фразы: а) «Продаю звезду К-99 вместе с нынешним урожаем»; б) «— Жаль, жаль, что вы не хотите лететь со мной: ведь это в сущности так близко, ближе, чем пешком, например, до Стокгольма...»; в) «На аллее толпился народ — в основном венерианцы, замаскированные под немцев»; г) «Планета Зеленая Чаша входила в галактику Равноденствия; она достигла самой границы фиолетового смещения, но еще не переступила ее».

Б) А вот эти: а) «При виде этих следов я невольно вспомнил отпечатки ног кошмарных чудищ возле Центрального озера, которое мы некогда открыли в стране Мепл-Уайта, — и сказал об этом Челленджеру»; б) «—Приветствую вас на борту «Наутилуса», — сказал он низким, хорошо поставленным голосом»; в) «Ландшафт вселенной похож на картины давно умершего художника Чюрлениса, — в космическом океане кричат звезды»; г) «— Меня зовут Алиса (заметьте — Алиса, как бы сладкое, вкусное имя), Алиса, — повторила она, протягивая мне руку».

1-Б.

Укажите авторов и произведения, отрывки из которых составили помещенный ниже текст; ответьте

на вопросы, в него включенные; загадайте криптограмму и установите, кем и в каком произведении эта радиограмма послана.

«Я только приступил к кофе, как передо мной вырос посыльный:

— Простите, космонавт Стин? Через десять минут вы должны быть в Особом отделе, в секторе 5X. Вот пропуск.

...Увидев, что я вошел, Щербаков кивнул:

— А, Влад, добрый день. Садись».

Щербаков стал доставать из ящика стола какие-то документы, фотографии, папки... В папке не было ничего, кроме бумаги. Двести семьдесят три пронумерованных листка разного цвета, разного качества, разного формата и разной степени сохранности. Все листки были очень неудобно, но прочно схвачены хитроумным металлическим устройством на магнитных защелках, и я не сразу заметил самую обыкновенную радиокарточку, подsunутую под верхний зажим.

Вот что в ней было:

19, 26, 11, 12, 51, 22, 23, 58, 77, 33, 71, 38, 58, 74, 33, 64, 58, 71, 76, 71, 87, 83, 56, 78, 85, 74, 61, 47, 78, 74, 83, 83, 74, 19, 76, 83, 32, 34, 69, 66, 87, 13, 61, 51, 56, 43, 83, 25, 12, 51, 12, 13, 62, 26, 18, 23, 83, 25, 22, 19, 22, 23, 26, 35, 54, 85, 26, 81, 87, 83, 56, 25, 56, 51, 26, 41, 87, 74, 51, 34, 33, 13, 18, 19, 64, 32, 35, 49, 74, 73, 49, 35, 33, 34, 38, 23, 66, 44, 19, 73, 76, 66, 73, 44, 85.

— Вы еще не смотрели на обложке? Взглянули бы...

Грей перевернул листок и прочел aloud:

1. Псевдоним (полный) американского ученого-химика Гарри Стабса, одного из лидеров строго научной фантастики.

2. «Притяжение вызывало на планете приливы исключительной силы. Насколько можно судить по снимкам, морей (во всяком случае, крупных) там нет. Приливы поднимали каменные волны. Планета каменных бурь — вот что такое (...?)».

3. Д. Блиш. Поверхностное натяжение; И. Джерекаров. Поселенцы; П. Андерсон. (...?).

4. Верхний орган планеты Ян-Ях: (...?), Ген Ши, Зет Уг, Ка Луф.

5. А. Кобо. Тоталоскол; Р. Брэдбери. *Tirannosaurus Rex*; Л. Альдани. *Онирофильм*; Г. Каттнер. (...?).

6. Со звезд этого созвездия (...?) возвратился Эл Брегг.

7. «Парус» и «Тантра»; «Кондор» и «Непобедимый»; («...?») и «Синяя птица».

8. Т. Брингсвард. Уснувшая планета; Н. Нильсен. Запретные сказки. Сказка («...?»).

— За двадцать лет мне не попалось ни одной криптограммы, которую я не смог бы разгадать.— Он еще раз посмотрел на бумажку.— Ладно, попробую. Через часок-другой, может, что-нибудь и прояснится...

— Ну как, что-нибудь прояснилось?

— Если бы я знал, что автор имел в виду, когда писал эту непонятную фразу, тогда безусловно разгадал бы ее смысл,— вместо ответа сказал хранитель и протянул ему расшифровку».

II.

Любителям библиографических изысканий предлагаем заняться делом не только увлекательным, но и вполне серьезным: исследовать творчество Дмитрия Александровича Биленкина (1933—1987) — писателя, немало сделавшего для становления современной советской фантастики. Выделим два варианта (два направления, две темы):

А) Художественные произведения писателя (НФ повести и рассказы, опубликованные в авторских и коллективных сборниках, в журналах и газетах);

Б) Его выступления по проблемам фантастики (статьи, беседы и интервью, заметки, рецензии на НФ книги).

Условимся: в первом варианте идут в зачет и публикации произведений под другими названиями, во втором — вообще каждая публикация, относящаяся к теме (вплоть до перепечаток в местных газетах). Кстати, у газет очень желательно указывать не только название, но и дату, и место издания.

В) Тех, кого не привлекает работа с библиографиями, приглашаем совершить круиз «Земля — Земля» по Солнечной системе. Какое максимальное число планет, их спутников, астероидов и комет вы сумеете посетить, пропутешествовав вместе с героями фантастики? При условии, что обладаете машиной времени и неограниченным временем круиза? Факт путешествия просим засвидетельствовать у кого-либо из ваших «попутчиков» — с указанием соответствующего НФ произведения.

Поскольку это круиз, то возвращение на землю считается концом путешествия. Остальные небесные тела можно посещать неоднократно — но чем реже, тем лучше: в зачет каждое из них (как и любое из произведений) идет лишь однажды.

Пример регистрации: Земля — Марс (Лось; А. Толстой. Аэлита); Марс — Юпитер (...?); Юпитер — Ганимед (...?); Ганимед — Церера (...?); Церера — Меркурий (...?); Меркурий — Земля (...?). При этом

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ВРЕМЕНИ: ГОД 1989-й

в НФ произведении должны быть налицо попутчик для вас и факт завершенности полета — четко указаны начальная и конечная точки путешествия. Для полета с Земли на Марс вам придется, естественно, поискать другой пример: в своей сугубо условной цепочке мы сознательно «рассекретили» хрестоматийную «Аэлиту», в зачет она не пойдет.

Оговорим также, что в зачет в этом варианте тура идут лишь произведения, печатавшиеся на русском языке — отдельным изданием, в авторских или коллективных сборниках, в периодике (за исключением местных газет, поскольку нет возможности убедиться в достоверности сообщения).

III.

I. Ответьте на один из предложенных ниже вопросов (до 8 очков плюс 2 балла за ответ на конкретную часть):

A) «— Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? — спросил иностранец...» Откуда это? И вообще: был или не был? Что по этому поводу говорят фантасты?

B) «Я рассмотрел миллиард жизненных линий Колумба, и только в одной из них значится открытие Америки». Из какого произведения эта цитата? И что пишут фантасты о Колумбе, об открытии Америки?

B) Что общего в произведениях: «Город» К. Саймака, «Планета обезьян» П. Буля, «Башня Мозга» З. Юрьева? Попытайтесь продолжить этот ряд другими НФ произведениями — как количественно, так и качественно.

IV.

Предложите (на отдельном листке) ваши вопросы для новой викторины. Убедительно просим иметь при этом в виду, что конкретные вопросы без ссылок на источники мы не принимаем. Добавим также, что очень надеемся получить от вас новые варианты для тура I-B (в расчете на традиционные 24 — 28 баллов).

Выскажите свои пожелания, замечания и соображения по викторине в целом — ее структуре, срокам, системе оценок, уровню сложности и т. д.

Следуя традиции, помещаем краткий список памятных дат НФ на нынешний год. Составить его нам помогли: прежде всего В. Окулов (Иваново), Н. Калашников (Новокузнецк) и КЛФ «Странники» (Кемерово), а также К. Проскурин (Барнаул), И. Минич (Керчь), Е. Жирнов (Мурманск), 8-классник В. Ерахимович (Фергана), 7-классник С. Макаров (Саратов) и другие наши читатели.

Январь, 1. 70 лет со дня рождения (1919) Даниила Александровича Гранина, автора повести «Место для памятника».

Январь, 19. 180 лет со дня рождения американского писателя Эдгара Аллана По (1809 — 1849), одного из родоначальников НФ.

Январь, 22. 85 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (1904 — 1941), автора повести «Тайна горы».

Февраль, 1. 105 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884 — 1937), автора знаменитой антиутопии «Мы» (опубликована у нас в 1988 г.).

Февраль, 3. 90 лет со дня рождения китайского писателя Лао Шэ (1899 — 1966), автора «Записок о Кошачьем городе».

Февраль, 11. 80 лет со дня рождения Ильи Иосифовича Варшавского (1909 — 1974). 25 лет его первой книге («Молекулярное кафе», 1964).

Март, 3. 90 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899 — 1960). 65 лет его роману-сказке «Три Толстяка» (написан в 1924 г.).

Март, 6. 370 лет со дня рождения французского писателя Савиньена Сирано де Бержерака (1619 — 1655), автора двух философско-утопических романов (на русский язык переведен «Иной свет»).

Март, 7. 65 лет со дня рождения (1924) японского писателя Абэ Кобо, чьи книги широко известны и в нашей стране.

Март, 16. 105 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884 — 1943), одного из основоположников советской НФ.

Март, 24. 155 лет со дня рождения английского писателя и общественного деятеля Уильяма Морриса (1834 — 1896), автора утопического романа «Вести ниоткуда».

Апрель, 1. 180 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809 — 1852), охотно вводившего фантастическое в свои произведения («Нос», «Вий» и др.).

Апрель, 16. 145 лет со дня рождения французского писателя Анатolia Франса (1844 — 1924). 85 лет его утопии «На белом камне» (1904).

Апрель, 24. 60 лет со дня рождения (1929) Владимира Дмитриевича Михайлова, автора популярных романов «Дверь с той стороны», «Сторож брату моему», «Тогда придите, и рассудим» и др. книг.

Май, 20. 190 лет со дня рождения французского писателя Оноре де Бальзака (1799 — 1850), не раз обращавшегося к фантастике (роман «Шагреневая кожа» и др.).

Май, 22. 130 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан Дойла (1859 — 1930), автора романа «Затерянный мир» и др. НФ произведений.

Май, 31. 90 лет со дня рождения (1899) Леонида Максимовича Леонова, тоже отдавшего дань фантастике («Дорога на Океан», «Бегство мистера Мак-Кинли» и др.).

Июнь, 10. 100 лет со дня смерти Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826 — 1889), непревзойденного мастера сатирической фантастики («История одного города» и др.).

Июнь, 28. 100 лет со дня рождения Владимира Евгеньевича Орловского (Грушвицкого, 1889 — ?), одного из первых серьезных авторов советской НФ (романы «Машина ужаса», «Бунт атомов»).

Июль, 7. 135 лет со дня рождения Николая Александровича Морозова (1854 — 1946), революционера, ученого, писателя, автора книги рассказов «На границе неведомого» (1910).

Июль, 10. 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева (1889 — 1963), автора книги «Расстрелянная Земля» (1925).

Июль, 26. 95 лет со дня рождения английского писателя Олдоса Леонарда Хаксли (1894 — 1963), автора сатирической антиутопии «Прекрасный новый мир» (переведена у нас в 1988 г.).

Август, 31. 240 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева (1749 — 1802), мыслителя-революционера, писателя, автора знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790).

Сентябрь, 1. 90 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (1899 — 1951), автора многих социально-фантастических произведений («Чевенгур», «Котлован» и др.).

Сентябрь, 13. 95 лет со дня рож-

дения английского писателя Джона Бойнтона Пристли (1894—1984), автора повести «31-е июня» и многих др. НФ произведений.

Сентябрь, 15. 200 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789—1851), автора романов «Моникины», «Колония на кратере».

Октябрь, 21. 60 лет со дня рождения (1929) американской писательницы Урсулы Ле Гуин, чье творчество известно и советским читателям.

Октябрь, 29. 100 лет со дня смерти Николая Гавриловича Чернышевского (1828—1889), автора романа «Что делать?» — первой социалистической утопии в русской литературе.

Ноябрь, 21. 295 лет со дня рождения французского писателя и философа Вольтера (Мари Франсуа Аруэ, 1694—1778), автора философско-сатирических повестей «Микромегас», «Кандид» и др.

Декабрь, 3. 85 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Клиффорда Дональда Саймака (1904—1988), хорошо известного советским читателям.

Кроме того, в наступившем году исполняется:

505 лет со дня рождения французского писателя Франсуа Рабле (1494—1553), автора романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»;

170 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Ахшарумова (1819—1893), автора романов «Граждане леса», «Игрок» и др.;

135 лет со дня рождения английского писателя Оскара Уайльда (1854—1900), автора романа «Портрет Дориана Грея»;

115 лет со дня рождения польского писателя Ежи Жулавского (1874—1915), автора «лунной» трилогии («На серебряной планете», «Победитель», «Возвращение на старую Землю»);

110 лет со дня рождения немецкого писателя Бернхарда Келлермана (1879—1951), автора романа «Туннель»;

105 лет со дня рождения грузинского писателя Александра Виссарионовича Абашели (1884—1954), автора НФ романа «Женщина в зеркале»; «отца американской фантастики» Хьюга Гернсбека (1884—1967);

90 лет со дня рождения Ильи Львовича Сельвинского (1899—1968), автора пьесы «Пао-Пао»; аргентин-

ского писателя Хорхе Луиса Борхеса (1899—1986), автора многих фантастических рассказов;

85 лет со дня рождения Ивана Александровича Калиновского, автора книг «Королева большого дерби» и «Когда усмехнулся Плутарх»; американского фантаста Эдмонда Гамильтона (1904—1977), одного из основателей «космической оперы»;

80 лет со дня рождения (1909) Марка Зосимовича Ланского, автора романа «Битые козыри»;

75 лет со дня рождения латышского писателя Анатолия Адольфовича Имерманиса, автора романа «Пирамида Мортонна»; Вячеслава Ивановича Пальмана, автора романа «Кратер Эршота», «Красное и зеленое» и др.; туркменского писателя Беки Сейтакова (1914—1979), автора романа «Паутина»; аргентинского писателя Адольфо Бьой Касареса, основоположника национальной НФ; болгарского писателя Павла Вежинова (1914—1984), автора повести «Барьер» и др. фантастических произведений; американского фантаста Генри Каттнера (1914—1958), хорошо известного и советским читателям;

70 лет со дня рождения Анатолия Петровича Днепровца (1919—1975), автора книг «Уравнения Максвелла», «Формула бессмертия» и др. Дмитрия Михайловича Шашурина, автора книги «Печорный день»; французского фантаста Франсиса Карсак (1919—1977), автора романов «Пришельцы ниоткуда», «Львы Эльдорадо» и др.; американского фантаста Фредерика Пола, известного у нас по роману «Операция «Венера» (в соавторстве с С. Корнблатом);

65 лет со дня рождения Владлена Ефимовича Бахнова, автора книг «Внимание: ахи!» и «Тайна, покрытая мраком»; Петра Ивановича Вороница (1924—1975), автора повести «Прыжок в послезавтра»; Владимира Владимировича Корчагина, автора книги «Астийский эдельвейс» и «Конец легенды»; Лидии Алексеевны Обуховой, автора книг «Лилит» и «Диалог с лунным человеком»; эстонского художника-фантаста Юло Соостера (1924—1970); Аскольда Львовича Шейкина, автора книги повестей «Тайна всех тайн»;

60 лет со дня рождения (1929) Игоря Марковича Росохватского,

автора книг «Гость», «Ураган» и др.; Юрия Геннадиевича Томина, пишущего фантастику для детей («Карусели над городом» и др.); Юрия Петровича Шлакова, автора книг «Кратер Циолковский», «Один процент риска» и др.

50 лет со дня рождения (1939) Валерия Алексеевича Алексеева, автора книги «Разноцветные континенты»; Юрия Николаевича Глазкова, автора сборника «Черное безмолвие»; Геннадия Федоровича Карпунина, автора повести-сказки «Луговая суббота»; Анатолия Андреевича Кима, автора романа «Белка»; Юрия Александровича Никитина, автора книг «Человек, изменивший мир» и «Далекий светлый терем».

Исполняется также: **220 лет** аллегории Ф. И. Дмитриева-Мамонова «Дворянин-философ» (1769); **200 лет** переводу на русский язык знаменитой «Утопии» Т. Мора (1789, написана в 1516 г.); **175 лет** повести А. Шамиссо «Необычайная история Петра Шлемиля» (1814); **125 лет** «Путешествию к центру Земли» (1864) и русскому переводу романа «Пять недель на воздушном шаре» Ж. Верна; **100 лет** его роману «Вверх дном» и первому собранию его сочинений на русском языке (начато в августе 1889 г.), роману М. Твена «Янки при дворе короля Артура», русскому переводу романа Э. Беллами «Взгляд назад»; **90 лет** роману Г. Уэллса «Когда спящий проснется» (1899) и **85 лет** его роману «Пища богов» (1904); **65 лет** «Плутонии» В. А. Обручева (1924); романам В. Катаева «Остров Эрендорф» и «Повелитель железа», первой книге трилогии М. Шагинян «Месс-Менд», русским переводам романов Э. Берроуза «Дочь тысячи джедаков», «Боги на Марсе» и «Владыка Марса»; **50 лет** первому изданию «Тайны двух океанов» Г. Адамова (1939); **45 лет** первым НФ книгам И. А. Ефремова «Встреча над Тускаророй» и «Пять румбов».

Кроме того, **65 лет** назад начали выходить журналы «Всемирный следопыт» (1924—1931), «Пионер» и «Смена», опубликовавшие на своих страницах немало НФ произведений; **25 лет** исполняется «Альманаху научной фантастики» издательства «Знание» (очевидно, по причине нерегулярности выхода переименованному в 1972 г. в «Сборник НФ»).

СТАРТУЕТ «СТАРТ»

Созданное при Свердловском обкоме ВЛКСМ комсомольское экспериментальное научно-производственное объединение (КЭНПО) совместно с «Уральским следопытом» учредило ежегодную премию-приз «Старт» — за лучшее произведение молодого писателя-фантаста.

Соискателем новой премии может стать любой автор в возрасте до 40 лет, в последние два года опубликовавший законченное НФ произведение — от-

дельной книгой, в коллективном сборнике или в журнале, на любом языке народов СССР (представляется литературный перевод).

Произведения-кандидаты выдвигаются клубами любителей фантастики. Учредители премии с помощью свердловских КЛФ рассылают в адреса клубов страны итоговый список претендентов и, собрав к 15 марта очередного года мнения КЛФ, суммируют их, выявляя победителя.

Приз вручается лауреату на традиционном апрельском слете КЛФ в Свердловске.



Аркадий Стругацкий:

«ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО...»

«...Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы все люди исчезли, вы могли бы населять землю и были бы точно такими же, как люди. Среди вас есть добрые и честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители детей, унылые проповедники, самодовольные дураки и полоухрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы. В самом деле, зачем вы?» («Улитка на склоне»).



За что мы любим книги, в том числе и книги братьев Стругацких! Мы влюбляемся, если подумать, не столько в конкретные произведения и даже не в конкретных героев — сколько в самый мир автора, в его духовную вселенную. Главным героем в творчестве любимого писателя становится его мировоззрение. Тезис бесспорный и прочный, на все времена. Берите и руководствуйтесь!

Но сегодня времена особые. Кругом тысячи вопросов на единицы попыток найти ответы, стоит грохот, под ногами хрустят обломки вчерашних догм, в газетах гвалт мнений...

В такие дни особенно мечтается поговорить по душам с кем-нибудь из умудренных жизнью, добрых и близких. Нет, не с проповедником, это осточертело, — просто со старшим другом, которого давно знаешь. обстоятельно, честно, глаза в глаза. И может быть, побольше — послушать, поменьше — поспорить, а главное — понять. Увидеть наш общий мир его глазами, подумать, посомневаться... В конце концов в спорах не рождается истина. В спорах рождается позиция.

Такой желанный старший друг, собеседник у каждого свой. У нас — писатель-фантаст Аркадий Стругацкий.

Стопка кассет расшифрована. Что оставить? Мнение наше с Аркадием Натановичем на сей раз совпадает: минимум места — фантастике и максимум — главной теме, злобе дня, мучительной «революции в эволюции» с именем собственным Перестройка.

— Аркадий Натанович, как вы относитесь к гласности?

— Наверное, как все. Привыкаю, учусь. Нравится учиться, интересный предмет. Сегодня мы — и большинство граждан, и общество в целом — наконец-то двинулись расти до понимания и принятия глубоко диалектического и конструктивного (да-да, и нигилизмом здесь не пахнет!) любимого Марксом девиза: «Подвергай все сомнению». Мог ли кто представить себе еще год назад, что отменяют экзамены по истории в десятом классе! Учебники не годятся. Идет переоценка истории. И нечего здесь зря опасаться: чистое и ценное богатство прошлого не потускнеет, а шлак и накипь отстанут.

— Какие могут быть, по-вашему, гарантии необратимости перестройки?

— Я таких гарантий не знаю. Ни-ка-ких гарантий не знаю. Потому что эволюция, точнее — деградация хрущевского прообраза «перестройки» сделала лично меня пессимистом. Произошло все очень просто и, увы, неуклонно: бюрократизация именно тех самых верхов, ко-

торые и были поначалу заинтересованы по тем или иным причинам в возрождении экономического, культурного, начала набирать обороты уже тогда... Причем в культурном, литературном деле процессы разложения происходили быстрее, чем в экономике, потому что это легче.

Ну, а потом что получилось? Руководителями тогда были люди доброжелательные. О самом Никите Сергеевиче можно много доброго сказать: развенчание культа личности, жилищное строительство — ведь впервые с двадцатых годов люди вылезли из подвалов и барачных и начали, пусть и в «хрущобах», но все-таки жить как люди...

А затем у Хрущева появились всевозможные услужливые советчики, и началось все по-старому. Возмнил, полез на пьедестал, решил, что его мнение (а на самом деле часто мнение его советчиков) — единственно правильное... И начал лупить всех по очереди. Сначала уязвил творческую интеллигенцию, и опять вылезли попрытавшие было «лозунгисты». Затем умудрился запутать партийный аппарат, разделив на сельский и промышленный. Не додумался Никита Сергеевич, что обкомы не должны заниматься конкретным руководством народным хозяйством, что они должны осуществлять общеполитическое, а не общее-общее руководство — получилось двоевластие и разноречивой. Затем умудрился обидеть военных, отменив вышнему и среднему комсоставу высокие пенсии... Все это накапливалось одно к другому, и в итоге сослужило ему же самому соответствующую службу. Никиту Сергеевича сняли, и своевременно сняли. Но сняли как? Кулуарно, втихую. Переворот произошел внутри парт-элиты, как будто и не народа ума это дело... Так и дальше пошло: народ — тут, верхи — там, связь через резолюции, указы да парадные съезды. Это уже не история — скорее, дворцовая хроника. Поставили «нашего дорогого» Леонида Ильича; Брежнев того «подкормил», тому дал Героя, то-сё, пятое-десятое — глядишь, и армия за него, и КГБ в надежных руках. Словом, построил вокруг себя крепостную стену, лег и задремал... А от его имени отдавались приказы, один разрушительнее другого, возобновилось разложение в культуре, в педагогике, пошел ускоряться распад экономики. Ну, дальше вы помните.

— ...И вот настал день сегодняшний.

— И перестройка началась, надо сказать, сразу глубже, на новом витке. Главным образом, мне кажется, потому, что сегодня шире социальная опора — и реформ, и реформаторов. Хотя дело идет, конечно, очень трудно. Это

же борьба, а значит, будут и победные режиссии, и отступления, и грязь, и жертвы.

Первая атака перестройки удалась: это когда авангард нашел проходы и прорвал кольцо инерционного, сидевшего в глухой обороне политического мышления масс. Я, например, Апрельского пленума не понял поначалу,— не понял всего его значения и всего масштаба того, что произошло на XXVII партсъезде. Настолько мы привыкли в газетах вату жевать, что этот крик души Горбачева просто не дошел до меня. Я ведь читал его сначала по-брежневски, так сказать. Наши вожди в свое время повадились писать чудовищным размером, да и язык-то был — помните: «Наряду с имеющимися недостатками имеются...» Та-ак, про кого здесь? А, про рабочего... ага... это все еще про рабочего... А вот: «В педагогике мы имеем не совсем отрадную картину...» Ну, это я и без тебя знаю... И только потом, когда вчитался — да ведь сквозь старые слова пробивается такое новое, честное, открытое, горькое содержание! — понял, что пахнет боем.

— А какие из боев в этой борьбе оказались не в нашу пользу!

— Что получилось с Ельциным, честно говоря, не знаю. Из выступления Лигачева, кроме непарламентских выражений, ничего не усвоил. Видимо, дело в том, что Ельцин кажется мне человеком горячим и страстным, он еще более Горбачев, чем сам Михаил Сергеевич... После Гришина в Москве осталась широко разветвленная сеть номенклатурщиков... И Ельцин решил как можно скорее их разогнать. Они же сумели консолидироваться, нашли методы борьбы, предприняли мощное контрнаступление... Видимо, и Ельцин дал им в руки кое-какие факты. Во всяком случае, все происшедшее с Ельциным я никак не могу отнести к достижениям на кадровом фронте перестройки.

Всем известное письмо Н. Андреевой — это контратака на другом фронте, на идеологическом. В чем смысл ее? Смысл совершенно очевиден: показать всем, всему народу, что, дескать, то, что говорит Горбачев, — это еще бабушка надвое сказала. Увы, многие этого не поняли. Вот я член двух творческих союзов. Союз писателей выступил на стороне Андреевой как организация, — значит и от моего имени тоже. А первая творческая организация, которая выступила с протестом, был Союз кинематографистов. Так на чьей я стороне? Наверное, нечего выступать «от имени». Пусть люди, коли захотят, сами воспользуются своим именем.

Далее. Надолго затянулась схватка общественности, вооруженной здравым смыслом, с целой группой ведомств, имеющих гораздо более мощный арсенал: связи, влияние, авторитет, прочие орудия застойных времен ну и, конечно, мощные материальные ресурсы — Минвдохоз, Минэнерго, еще три-четыре «сырьедобывающих» и «ямокопающих». Сейчас они во многом определяют мирные затраты нашего государства.

— То есть ведомство, однажды рожденное, не умрет!

— Да не только не умрет, а превратится в кукушонка... Вот ведь какая штука: ведомство продовольственное или книготорговое, допустим, получает в результате распределения бюджета, ну, скажем, по три миллиарда рублей. Все прочие министерства — Минздрав, Минкульт... — получают 50—70 миллиардов в год. (Я, конечно, не Госплан, за точность цифр не ручаюсь, оценки грубые, но смысл отражают). А вот эта кучка землеройных министерств хватает триста с лишним миллиардов рублей! Но это было бы еще полбеда, беда состоит в том, что весь смысл их работы — производить производительные силы, которые будут производить производительные силы, которые будут снова производить производительные силы... И людям, народу, ради которого они созданы, не достается от этого ничего. Мало того, раз их работа — рыть котлованы, валить бетон и за это получать деньги, они стараются захватить, придумать себе самые выгодные, циклопические работы, которым заведомо нет конца. Вы воображаете, что они очень огорчены, что им не дали репки повернуть? Оставьте! Они давно вбили средства...

и такой итог — это, наоборот, в какой-то мере их оправдание. Теперь они захомутают очередные сто миллиардов, чтобы рыть где-нибудь еще... Помните, у Чехова пародия на Жюль Верна: «Продырявить луну гигантским буром»...

О бюрократизме говорить нечего. Нечего говорить и о том, что даже если бы наша экономика произвела сегодня все самое лучшее, передовое в мире — мы все равно получили бы от этого произведенного не больше половины. Все остальное сгнило бы на складах, растерялось на дорогах, заблудилось и рассыпалось на железнодорожных путях... А князьки-руководители, чья психология за годы застоя настолько изменилась, что иные стали откровенными, как называли в старину, христомпровадцами...

Много фронтов вокруг перестройки, Кольцо фронтов. Всем нам надо под ружье — только так... И тут самый главный фронт — скрытый: политическая пассивность, социальная пассивность. Страх прежде всего за себя. На этом страхе воспитаны и рабочий и бюрократ.

— Неуловимые «враги перестройки»!.. На ваш взгляд, Аркадий Натанович, что это такое или кто это такие? С кем можно отождествить этот, уже не термин, а скорее злобещий ярлык!..

— Не надо только ярлыков, тем более злобещих, А противники — разные. Одни по долгу службы. Как солдат — враг супротивника, потому что имеет каску и автомат, принял присягу. Другие по долгу доверия, по долгу принадлежности к какому-то клану... Конечно, хорошо бы представить, как сын завязатого бюрократа говорит отцу: «Папа, ты не прав, я буду выступать против тебя!» Но это вообще-то малоправдоподобный случай. Главным тормозом перестройки являются, конечно, равнодушные. И это, представьте, две трети нашего народа*. Вот вам самое жуткое наследие Сталина, Хрущева, Брежнева... Все вместе они родили человека, который из гражданина советского стал «гражданин-сам-по-себе»: «Вы там как хотите, а я буду жить для себя!»

Как и во всякой революции, у нас идет не просто столкновение, как нас всегда учили, двух антагонистических классов. Спартак проиграл римской аристократии не потому, что оказался слабее патрициев, а потому, что огромное количество римского плебса, поколебавшись между Спартаком и аристократией, примкнуло к последней. И революция наша, семнадцатого года, победила не только и не столько потому, что большевики схватились с царизмом и крупной буржуазией, а потому, что сторону большевиков взяла отчаявшаяся от войны огромная масса людей. Вот и сейчас, в этой революции, кто победит: либо бюрократия, либо сторонники перестройки, — победит тот, к кому примкнут эти самые две трети народа.

Не следует сбрасывать со счетов уровень политического сознания этих двух третей. За 70 лет Советской власти политически воспитать полностью народ нам не удалось. Во-первых, попытки политического воспитания делались часто совершенно глупыми формами и способами (и «спасибо» здесь нашим забубенным пропагандистам...); а с другой стороны — даже самый умелый пропагандист не может семьдесят лет уверять, что вот ты сейчас еще потерпи, а завтра тебе будет-таки и сахар, и кофе, и всё-всё. С третьей стороны, этот же самый человек, наблюдая вокруг себя, что происходит — целые классы продуктов исчезают из продажи, куда-то подевались стройматериалы, нигде не добьешься запчастей к пылесосам, никто ни за что не желает отвечать, — этот человек логично становится аполитичным. Так ко всем прочим политическим, массово-психологическим недостаткам и ущербности прибавляется еще полное равнодушие. Массам хорошо то, что им хорошо в эту секунду, а если вы нам это обещаете опять «завтра» — идите-ка вы туда-то!

Идет не классовая война, хотя ч-черт его знает, все так сложно у нас... Вы, уральцы, читали статью С. Андреева

* Можно спросить: откуда я взял эти две трети? Почему не три четверти или не три пятых? Затрудняюсь ответить. Таково мое впечатление. Кому не нравится — читайте: большинство (А. С.).

в журнале «Урал» (№ 1, 1988) — «Причины и следствия». Основной пафос этой статьи — «сегодня управленцы-хозяйственники образовали новый класс». Это, так сказать, отечественное исследование (и выполненное, на мой взгляд, не без блеска). Нечто похожее есть у Гэйбора и Фромма (американские социологи, стоящие почти на марксистских позициях, ну, с поправкой на их американское происхождение, конечно). Они исследовали параллели между США и СССР. Да, признают они, конечно, у нас в США есть капиталисты и есть народные массы; капиталисты при помощи полиции защищают свои интересы. В Советском Союзе есть государственный капитализм (общие средства производства), есть рабочая масса, есть и своя полиция, контролирующая эту массу, причем полиция пугающей американской (Гэйбор и Фромм писали еще про сталинские времена). Следовательно, в Советском Союзе есть — не может не быть — новый небывалый класс, который является порождением причудливого хода развития советской революции. Это так называемая «номенклатура» — авторы не называют ее бюрократией. Что такое класс по Марксу? Класс — массовая группа людей, определяемая своим отношением к средствам производства. Какое же отношение к средствам производства у нашей номенклатуры? Она же не владеет средствами производства... Так она, оказывается, очень ловко устроилась, не владея средствами производства. Она контролирует средства производства, как, впрочем, и продукты труда. Не отвечая, как капиталист, за них! Кто-то хорошо сказал на партконференции: было придумано для них специальное такое «дело» — принимать решения, и это стало занятием, профессией, смыслом жизни, ну, как хотите называйте.

У американцев тоже возникла такая прослойка — так называемые менеджеры. Но менеджеры все-таки более или менее слуги тех, кто их нанимает — слуги капиталистов. Эти же, «номенклатурщики» — свои собственные слуги! И имеют еще своих собственных слуг... Таким образом, с известной натяжкой можно сказать, что у нас происходит и классовая борьба. То есть борьба коммунистов, социалистов против класса номенклатуры.

Любая ошибка коммунистов тут же становится козырем для «номенклатурщиков». Какое великолепное оружие мы отдали в их руки с ходу, с первых шагов!.. Можно ли было вот так, дерзко отменять питейный образ жизни? Даже очень разумные трудящиеся были этим возмущены. Во-первых, мы что — не цивилизованная страна? Во-вторых, никакой Дворец культуры до сих пор не раскрыл настежь двери трезвым и жаждущим отдыха гражданам... В-третьих, потеряли в доходе. Есть еще и в-четвертых, и в-десятых... Сначала мы лишимся сахара, потом леденцов... Одеколону, как известно, уже лишились. Кроме того, нельзя считать случайным совпадением введение указа о борьбе с пьянством и огромное увлечение наркоманией, появление совершенно нового порока — токсикомании. А теперь мы о них говорим, и не об эксцессах, а о массовом явлении. В истории таких совпадений почти не бывает.

— Аркадий Натанович, как на ваш взгляд, появилось ли новое поколение — «перестроечное»?

— Вы рассуждаете как-то странно, как тот школьник о палеонтологии: «Да, вот жили позавчера динозавры, да померли вчера... А как человек появился? Сидела шимпанзе в клетке в зоосаду, пришел срок — елки-палки, у шимпанзе уже вся шерсть вылезла, обезьяна газету подбрала и читает...»

Слушайте, три с половиной года прошло всего, и каких три года! Да плюс влияния разные: семья — раз, школа, чаще всего, отвратительная — два, улица со своими подростковыми законами зла и справедливости по отношению друг к другу... И вы хотите, чтобы та борьба, которая идет между бюрократами и истинными коммунистами, которая идет над головами взрослых людей, — чтобы она успела проникнуть в сознание молодежи?! Инерция, социальная инерция будет продолжаться еще десятки лет, не надейтесь на скорые результаты. Единственное отличие молодежи — в ее среде нет бюрократии. Но структура похожа: есть ребята с чистыми, светлыми

идеями, пусть порой наивными; есть всякие «паханы» и поклоняющиеся им, скрепленные улично-уголовной романтикой; и есть огромная масса равнодушных, которым вообще на все наплевать. И задача в том, чтобы перетянуть эти «две трети», образно говоря, к Крапивину. Как это сделать? Мировая педагогика две тысячи лет думает и не додумалась, а вы хотите, чтобы в три с половиной года все было додумано!..

— Вот еще вопрос, из серии ранее не мыслимых, а сегодня поднимаемый и в партийной печати. Вопрос о кризисе доверия к...

— К партии? На мой взгляд, довольно естественная вещь, поскольку и было, и есть у нас много не коммунистов, а числящихся в партии. И в самых различных перипетиях, в больших, глобальных и в будничных, они показали себя именно числящимися, а не истинными партияцами, верными идеям коммунизма. Членство в партии для одних стало источником привилегий, другим гарантировало, так сказать, прибавку общественного веса, третьим служило политическим щитом, четвертым — мечом, а пятым и шестым давало больше прав и в использовании даже элементарных гражданских прав. А люди-то видят членов партии при всех обстоятельствах, как голенькими... И будет совершенно в духе времени рассматривать мнение народа как стрелку компаса, тогда и путь будет без таких долгих петляний с жестокими потерями.

— Как вы думаете, может ли у нас в стране быть несколько марксистско-ленинских партий? Если вспомнить историю, при едином методологическом подходе, единой стратегии лидеры большевиков существенно различались во взглядах на тактику революции и Советской власти...

— Нет. Давайте не будем заниматься маниловщиной. В реальных конкретных условиях, с нашим историческим багажом и нашими демократическими рефлексамися этого, на мой взгляд, быть не может. Изобретать велосипед не возбраняется, но лучше отремонтировать старый. Мое мнение: сегодня и далее должна быть руководящая роль истинно коммунистической партии — сосредоточенной главным образом на вопросах воспитания, образования, науки и здравоохранения. Плюс — хозяйственная, основанная на сметке и предприимчивости экономика, плюс классическая, веками испытанная (жаль, не у нас) демократия, плюс широчайший спектр мнений и взглядов... Как видите, путь вперед на уровне программных лозунгов мы все выучили. Весь вопрос в том, когда и как это случится? А тогда, когда под демократией мы научимся понимать не сумму голосов, а неисчерпаемую по богатству совокупность личностей. Без учета мнений даже одной из них наш общий взгляд на мир станет беднее. Есть у одного прибалтийского поэта прекрасная мысль: «Чем талантливей мы порознь — тем гениальней сообщая».

— Много лет следим за вашим творчеством, за выступлениями в прессе, и, знаете, Аркадий Натанович, есть «белые пятна»... Можно вопрос!

— Ну, смелее.

— Как ваша семья, ваш отец — коренной ленинградец, оказались в тридцатые годы в Сибири!

— Очень простым способом. Натан Зиновьевич принадлежал к группе «десяти тысячников», тех самых, которых партия в 1933 году послала на укрепление колхозов. Мой отец — старый партийный функционер, в партии с 1916 года, комиссар гражданской войны... И при всей его любви к искусству, которому он собирался посвятить свою жизнь: «Вот победим в гражданской войне — тогда и займусь», и он уже работал в Эрмитаже, был довольно известный искусствовед... Но вот партия сказала: «Надо!» Натан Зиновьевич ответил: «Есть!» — и поехал в Прокофьевск.

— Как ему, старому большевику, ленинградцу, удалось не попасть под сталинские репрессии! Счастливы случаи! Хотя о счастье тут говорить кощунственно...

— Репрессии часто имели облавный характер: брали списками, по целым предприятиям, сферам деятельности, райкомам; и если кто-то успевал уйти из данной сферы, в соответствующем списке на расстреляние его вычеркивали и вносили кого-то другого. В облове часто важны

были не фамилии, а количества. Известная нам всем старуха работала тогда не косой, а косилкой... Вскоре мы вернулись в Ленинград, отец поступил в Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина и проработал до самой войны. Погиб в блокаде.

Мой дядя Арон Стругацкий был командиром кавалерийской бригады в гражданскую войну, погиб в боях с белогвардейцами, в Ростове. Самый младший дядя, организатор комсомола на Херсонщине Александр Стругацкий, в тридцать седьмом был взят, забит насмерть в НКВД. Так что и для нашей семьи это «белое пятно» — черного цвета...

— Аркадий Натанович, теперь все-таки немного о фантастике. Согласитесь, что если кто и двинул перестройку мощно вперед — так это публицистика. Хотя можно сказать и наоборот: перестройка двинула вперед публицистику. Во всяком случае, во многом способствовало делу и активное включение писателей-мастеров. Если посмотреть по именам: Бакланов, Распутин, Астафьев, Залыгин и другие — это все писатели-реалисты. Выступлений писателей-фантастов мало, да и они как-то все больше — о проблемах узкокошевых. Показательны, на наш взгляд, и дискуссии читателей и писателей на свердловской «Азлите»-88: все те же круги своя — тиражи, противные дяди-редакторы, «мои творческие планы» и т. д. Мы же всегда гордились: фантастика — самая передсмотрящая литература. А наступили те самые «завтрашние пределы» — где фантасты!.. Почему фантастика сегодня робче реалистики!

— Гм... Внешне дело обстоит именно так, но давайте посмотрим на причины.

Да, Бакланов, Лакшин, Залыгин, Карякин, Астафьев, Битов и другие замечательно выступают, что и говорить... А вам никогда не приходило в голову, что они выступают потому, что им есть где выступать? А фантастике выступать негде. К фантастам никто не обращается. Из всех статей, заметок, прочих эпистолярных обращений в газеты и журналы, авторами которых являются писатели-фантасты, на страницы просвечиваются лишь единицы. И только по поводу собственно жанра, что вы и заметили.

Прежде всего это обусловлено, во-первых, тем обстоятельством, что упомянутые корифеи располагают информацией. Я не знаю, каким образом это достигается. Я, скажем, не знаю, каким образом Залыгин смог ворваться в тылы злосчастных министерств — Минэнерго, Минводхоза и иже с ними. Другие авторы очень хорошо знакомы с истинным положением дел в агросекторе, третьи остро чувствуют или не прерывают связь с простыми людьми. Фантасты же «эн масс» являются по происхождению интеллигентнейшей из научно-исследовательских институтов, лабораторий и т. д., где они имели возможность видеть, в лучшем случае, что собой представляет советская наука.

Далее. Бюрократия вообще умеет хранить свои тайны. И нужно счастливое стечение обстоятельств, с одной стороны, и с другой стороны — очень большая пробивная сила, большой творческий авторитет, чтобы пробить ее каменные заборы. И тут вторая заковыка, которая имеет масштабы и последствия для нашего жанра трагические. Как бы ни были остры противоречия, которые раздирают сегодня традиционную литературу (а в ней, как всегда во времена революций, имеются крайне левое крыло, крайне правое и все остальное, то есть масса, которая заботится только о том, чтобы издаться), все-таки для власть имущих, в том числе и для тех, кто олицетворяет для нас перестройку, даже для прогрессивных партийных и хозяйственных руководителей фантастика как жанр по-прежнему ничто, фантастика — забава, писатель-фантаст «ничего умного» сказать не может. «Фантаст» — и сразу начинается хихиканье: «Да-а, он тут нафантазировал у нас...» Писателю Залыгину так не скажут.

И не в обиду лидерам перестройки это будет сказано, но к нашей общей досаде. Потому что отношение к фантастике у нас в стране традиционно еще со сталинских времен, и оно совершенно не изменилось. Фантастика

просто не имела возможности полноценно проявить себя. А вот так называемые писатели-«деревенщики» начали проявлять себя еще в самые глубокие годы застоя. Они уже тогда выходили, могли пробиться, потому что тайно или явно, но находили себе поддержку доброжелателей, «спонсоров» даже в среде той бюрократии, которая влияла на средства массовой информации и, обладая каким-то минимумом гражданской совести, не могла не видеть и стыдилась за то, что вокруг происходит; порой рискуя и своим положением (самое главное для номенклатуры), все-таки давала возможность для таких выступлений.

А что такое «застойные явления» для фантастики? Для фантастики это, прежде всего, полное подавление всякого движения, начатого Иваном Антоновичем Ефремовым. Одно время это движение называли «социальной фантастикой». Мы уже не будем говорить о том, что одно из самых мощных произведений Ефремова «Час Быка» было буквально раздвлено. И до сих пор, при всех восхвалениях и лицемерных воплях, которые издают определенные издательские круги по отношению к Ефремову, нашему единственному абсолютному классику в фантастике, они все равно стараются замолчать «Час Быка»!

Надо сказать еще об одном обстоятельстве. Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, фантасты, как писатели, так и любители, — это читательская и писательская элита (не вся, конечно, но в большой массе своей). И их способ мышления, методология и мировоззрение в значительной мере определяются поисками, характерными для Достоевского и других больших русских классиков: в чем смысл жизни, каково соотношение между обстоятельствами и совестью, как я должен относиться к человеку, который меня бьет... Вот эта самая «интеллигентская элитарность» (ох, как часто у нас путают и подменяют элитарность и адресность, адресованность определенному читательскому кругу), при всей привлекательности для меня лично, — послужила нам очень неприятную службу. Вот мы сейчас непримиримо деремся с застойными явлениями в издательской политике в области фантастики, и дело наше правое. Деремся и при этом интеллигентно мучаемся: ну, куда эти «застойщики» пойдут, если нам удастся согнать их с теплого места? А вот они — «более крепче», чем мы. Им сомневаться нечего, потому что есть что терять.

Что, собственно, нужно любителю фантастики от жизни? Чтобы появлялись книги, которые он мог бы читать с интересом, — не обязательно фантастические, но во всяком случае — литературу. Для него в этом смысле, обратите внимание, перестройка уже произошла. То есть у него на работе безобразия могут, конечно, продолжаться, у него могут быть тысячи осложнений с жильем, с продуктами — но духовное питание он уже имеет! Видите, как просто... «Элитчик» по определению обязательно должен встать на борьбу. Но борьба в духовной сфере для него сегодня более результативна, чем в иных. Потому что сегодня он читает Бека, завтра — Айтматова, послезавтра — Залыгина... Такие духовные, интеллектуальные, гражданские залежи выходят на свет божий!

И я так же наслаждаюсь, как и любой подготовленный, элитный читатель тем, что появляется в прессе и изданиях. И это здорово снижает накал протеста — не уничижает его, но снижает. Потому что, как бы там ни было, для «элитчика» один из господствующих принципов его мировоззрения — «За державу обидно!» Но вот как раз буфером между «За державу обидно!» как посылом к действию и самим действием, борьбой является рефлексия: «Ладно, обидно-то обидно, но, черт подери, смотри, какие книги выходят, какую правду пишут — думал ли я дожить до такого дня?!»

— Ну, это естественная «кислородная эйфория», но ведь она должна пройти, и тогда наступит адаптация!..

— Вот-вот, именно... Как долго это будет продолжаться, я не знаю. Как скоро количество новой, небывалой, оглушающей информации перейдет в качество и станет из буфера толчком, импульсом, «импетусом» к активным действиям — сказать трудно, и предсказывать не берусь.

Но можно быть твердо убежденным, что наша читательская элита — любители фантастики, эти несколько миллионов человек да плюс несколько десятков писателей — это, можно сказать, гвардейский резерв перестройки.

— Аркадий Натанович, нужно констатировать: как жить сегодня — знают пока немногие, как жить завтра — еще более немногие. Главным для фантастики до недавних пор был «анализ отрицания», то есть попытка понять, «что не нравится», понять и разложить по...

— Наоборот! Выразить! Не понять, а выразить — свое недовольство и попытаться его проанализировать! А не сначала — он понял, почему он недоволен, а потом начинает писать об этом... Большая ошибка многих читателей в том, что они думают так: писатель ходит, подсматривает — а! о! — реки собираются повернуть? Дай-ка я вот напишу, как они собираются повернуть Атлантический океан или Гольфстрим... Нет, наоборот все. Мне стало холодно, например, или комары заели... Или у меня ребенок заболел бруцеллезом. Или жена заболела бронхиальной астмой, а рядом завод дымит. И начинает писатель рефлексировать (да я и сам подписывал непрерывные петиции). Ведь яснее ясного для каждого человека: раз эта громадина воняет, отравляет людей — значит это не советское дело. Кто же здесь хозяин, в чем дело, почему? И вот от этого он начинает писать. Не дожидаясь, когда он все поймет! А уже в процессе писания к нему начинают приходить разные мысли, порой очень крамольные... Здесь накручена масса разных проблем.

— Вот вы, Аркадий Натанович, в своих книгах чрезвычайно часто обращаетесь к теме выбора, а затем борьбы в одиночку. Вы говорите, что ваш оптимизм основывается на вере, что один человек может выстоять против машины принуждения, против системы, если он достаточно твердо убежден, а не говорит: «Что, мне больше всех надо!» Но ведь, по вашему же раскладу, этот «один» — случай малоправдоподобный...

— Всякая революция — это не только преобразование экономической системы. Революция — это война за души! Перевес войны за экономику над войной за души дал нам Сталина и все, что было после. Ежели наше руководство, прогрессивное коммунистическое руководство, не возьмется за это революционно, то даже если мы будем лет через десять... м-м... объедаться сахаром, запивая шампанским, — все равно толку не будет, к коммунизму мы не приблизимся. Коммунизм — это результат борьбы за души! И поэтому, образно говоря, я отдам с десяток прежних партийных секретарей за одного талантливого коммуниста-педагога.

Вот к вопросу о программе духовной перестройки общества. По-моему, этой программы сейчас быть пока не может. Программа эта должна явиться результатом огромного перелома и огромного прогресса в педагогике, которой у нас сейчас нет. Когда мы овладеем ею — совершенно невозможно сказать. Видите ли, в чем дело. У нас порядка полутора миллионов людей, так или иначе связанных с народным просвещением. А кто из них годится в педагоги? Вы что, своих учителей не помните? Как сменить эту гигантскую армию, кто их будет готовить — новых педагогов?!

— Значит, по-вашему, даже первый, подготовительный этап духовной перестройки откладывается или, точнее, растянется на десятилетия! Но ведь борьба во всякой революции скоротечна!

— Революция... Революция, как видите, только еще разгорается по-настоящему. Вот уже 70 лет она идет. Были времена: Колчак наступал — красные отступали, красные наступали — Колчак отступал. Но разгромом Колчака, как ни был он труден, сколько жертв ни взял, революция завершила только одну, крохотную фазу. Это же самое скоротечное — взять власть, самое легкое. Затем начинается борьба за удержание власти. После борьбы экономическая: здесь тоже наступают, отступают, но этот процесс занимает десятилетия. И вот сейчас, после XIX партконференции, начнутся процессы, уже рассчитанные на полстолетия. Лично я от конференции осо-

бенно хотел одного — я называю это правильным решением.

— В чем оно!

— В обеспечении максимума благоприятствования всем экспериментаторам, прежде всего в педагогике. Сегодня эти смелые люди появляются не потому что, а вопреки. Значит, существуют в массах какие-то неведомые нам социально-психологические процессы, порождающие вдруг алмазы...

— Алмазы всегда рождаются в условиях сильного давления, высокой температуры...

— Вот мы и должны стремиться к такому положению, чтобы алмазы появлялись у нас при комнатных температурах. Безо всяких давлений. Вот тогда такое будет достигнуто.. Да только не будет ни вас, ни нас, — будут наши внуки. Может быть, тогда можно будет сказать, что коммунизм удался.

— Аркадий Натанович, что бы вы могли назвать «первой ласточкой перестройки» в вашей жизни? Конкретно.

— А-а-а... Первая живая ласточка! Это когда у нас сразу из двух журналов одновременно потребовали любую вещь — «какую дадите, такую и издадим». Ну-с, ладно, думаем... На тебе «Сказку о Тройке»! Никогда в жизни, понимаете ли, не поверил бы! Через месяц звонят: «Будем печатать в следующем году». «Что-о?!» — говорю... Ну, и пошло... А сейчас ощущение такое, что так и надо, так и должно быть. А может, это и правильно, может, так и должно быть! Наступила блаженная пора здоровой конкуренции между журналами...

Творчество Стругацких сегодня — в самой гуще борьбы старого с новым. «Сказка о Тройке», появившаяся в усеченном виде в альманахе «Ангара» в 1966 году, впервые опубликована в 1987 году в журнале «Смена». Это один из самых острых памфлетов о «совбюрократии». «Время дождя», написанная в 1967-м и опубликованная впервые двадцатью годами позже в «Даугаве», — художественное исследование духовного тупика, к которому мы неизбежно скатывались в годы застоя. «Улитка на склоне», появившаяся в 1968 году, а опубликованная полностью в 1988-м в журнале «Смена», — сложное философско-этическое произведение о духовном и социальном регрессе в бюрократически организованном обществе. Роман «Град обреченный», написанный еще в 1969 году, а опубликованный во второй половине 1988 года в журнале «Нева», близок сегодняшним размышлениям о нашем давнем и недавнем прошлом и о непростом будущем.

...Издательство «Московский рабочий» в 1988—1989 годах выпускает двухтомник произведений братьев Стругацких. Первый в тридцатилетней истории их творчества двухтомник.

На пресс-конференции в дни проведения «Аэлиты-88» Аркадия Натановича спрашивали о необычной манере, форме произведений. Он тогда ответил: «Мы теперь не даем развернутой развязки произведения, мы обрубаем развязку. Начинаются подозрения в адрес редакции... Нет, товарищи, таков замысел: он может нравиться читателям, может не нравиться, но он нравится нам, и так мы, с вашего разрешения, будем продолжать работать».

Вот и мы, с позволения читателей, «обрубаем развязку», опускаем какие-то логические цепочки нашей беседы, предоставляя право что-то додумать и достроить самому читателю.

С писателем беседовали
Н. БЕЛОЗЕРОВ, С. МОЛОДЦОВ





НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

**Юрий
ЗАЙЦЕВ,**
заведующий отделом
Института
космических исследований
АН СССР

ЛЕТИМ на МАРС

**Март... Планета мифов
и научной фантастики,
«войны миров»
и «зеленых человечков».
Март — вправду покоренный!
Такая возможность
сегодня всерьез
обсуждается и изучается
учеными, инженерами,
космонавтами,
политическими деятелями.**

ОТ ЛЕГЕНД К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Пожалуй, ни с одной из планет Солнечной системы не связано столько гипотез — фантастических, дерзновенных и прекрасных — как с Марсом. Еще совсем недавно воображение землян будоражили увлекательные возможности найти мир себе подобных на расстоянии всего в несколько десятков миллионов километров — совсем незначительном в масштабах Вселенной. Сколь подкупающей была, например, гипотеза об искусственном происхождении марсианских «каналов», открытых итальянцем Д. Скиапарелли: разумные марсиане якобы воздвигли эти грандиозные инженерные сооружения для ирригации или как транспортные артерии.

А спутники Марса, доступные наблюдению лишь в самые большие телескопы? Американец А. Холл, обнаруживший их, дал им имена сыновей бога войны Марса — Фобос (Страх) и Деймос (Ужас). Всего 25 лет назад советский ученый И. Шкловский высказал гипотезу об их искусственном происхождении.

В серьезных научных работах описывался растительный мир Марса.

«Прежде всего это должна быть растительность низкорослая, жмущаяся к почве,— считал советский ученый Г. Тихов.— В основном это должны быть травы и стелющиеся кустарники. В суровом климате растения могут иметь голубой, синий и даже фиолетовый цвет».

Не менее убедительно звучат слова американского биолога профессора физиологии растений Колорадского университета Ф. Солсбери: «Быстрое нагревание днем облегчилось бы определенной системой пигментации растений, приблизив их организм к абсолютно черному телу. Марсианские растения должны представлять Солнцу днем широкую поверхность листа. Если бы с наступлением ночи такой лист мог сворачиваться в трубочку, это сократило бы потери тепла».

Проанализировав фотоснимки Земли, сделанные с больших высот, Солсбери пришел к выводу, что, собственно, зелеными участками выглядят лишь густые леса и сочные луга нашей планеты. «Поэтому,— писал он,— можно считать, что наблюдаемое с Земли изменение цвета и размеров отдельных участков поверхности Марса указывают на существование пышной растительности на планете...»

Одновременно существовали и противоположные точки зрения. «В настоящее время,— писал академик В. Фисенков,— можно считать, что никакой высшей растительности и развитого живого мира на Марсе быть не может. Но существование на этой планете низших форм — ка-

ких-либо лишайников, примитивных водорослей, бактерий — нельзя считать исключенным».

Увы, к сожалению, все это не так! Сегодня уже известны многие факты из биографии Марса и его природы. Их достоверность вне сомнения — они переданы на Землю советскими и американскими космическими аппаратами, регулярные запуски которых к «красной планете» начались с 1962 года. Вслед за советским «Марсом-1» вплоть до 1975 года к четвертой планете стартвало полтора десятка советских и американских космических аппаратов. Земные посланцы внимательно рассмотрели ее с близкого расстояния, опустились на поверхность и рассказали о Марсе столько удивительного, что спор вокруг его тайн вспыхнул с новой силой. Развенчав одни гипотезы, они породили множество других.

НОВЫЕ ЗАГАДКИ

В середине шестидесятых годов казалось, что Марс скорее напоминает Луну: очень слабенькая атмосфера (давление на поверхности планеты соответствует земному давлению на высоте тридцати километров), незначительное магнитное поле, нет поясов радиации. Суровый ландшафт с множеством кратеров еще более усиливал это сходство. Такая точка зрения была наиболее распространена и после полета первых советских «Марсов» и американских «Маринеров», хотя эти аппараты увеличили знания ученых о Марсе в сотни раз. И вот новые старты, новые уникальные сведения о планете и вывод, что Марс не похож на Луну. Он вообще ни на кого не похож. Марс похож на Марс...

Оказалось, что несмотря на свои скромные, по сравнению с Землей, размеры (диаметр Марса почти в два раза меньше земного, а его масса составляет лишь 11 процентов от массы Земли) рельеф Марса гораздо более пересечен. Съемки с близких расстояний позволили различить на его поверхности детали размером в километр, а в благоприятных случаях — в несколько десятков метров. При этом ни одного «марсианского канала», по поводу которых примерно столетие ломались научные копья, обнаружено не было. Зато имеется много сотен ветвящихся долин, ничем не отличающихся от земных рек. Есть следы, напоминающие движение ледников. Но нет воды!

Конечно, в условиях холода и разреженной марсианской атмосферы воды в жидком виде на Марсе быть не может. Но, очевидно, в истории планеты были и периоды более мягкого климата. В то время там, возможно, существовали не только

реки, но и озера, и даже моря и океаны.

Многие специалисты полагают, что и сегодня в подповерхностных слоях Марса сохраняются реки и водоемы. Подозрения падают, в частности, на области Хеллас и Эллада. Последняя представляет собой впадину диаметром свыше полутора тысяч и глубиной до четырех километров, совершенно лишенную кратеров. Возможно, причина в толстом слое песка и пыли, покрывающем ее дно. А может быть, это замерзшее море?

Вывод о том, сколько всего на Марсе воды, пока не сделан. Еще недавно велись споры: из какого льда — обычного или сухого (замерзшей углекислоты) — состоят полярные шапки? Сейчас вроде бы достигнут компромисс; имеется и тот, и другой. Но проблема далеко не исчерпана.

Когда на Марс совершили посадку автоматические аппараты, они не обнаружили ни следов ног, ни остатков материальной культуры. Надо сказать, что о марсианских «братьях по разуму» к этому времени никто уже не мечтал. Но жизнь? Пусть самая примитивная! Ни микробов и даже никаких сложных органических молекул найти не удалось. Нет и растительности — деревьев, кустарников. Трудно в это поверить, принять еще труднее.

Но если сегодня на Марсе нет жизни, то представляется вероятным, что в прошлом, когда там текли реки, было гораздо больше шансов на ее существование. Если бы человек смог пройти по одной из марсианских речных долин и изучить геологические наслоения на берегах, то можно многое узнать — о климатических изменениях, о происхождении и эволюции жизни, сравнить развитие наших соседних миров.

Если на Марсе когда-то в изобилии имела вода, то что же произошло потом? Каким образом этот мир стал таким холодным и иссушенным? Почему в его атмосфере почти не осталось воздуха? И не ожидается ли в будущем нечто подобное нашу Землю?

ЭКСПЕДИЦИИ НА МАРС: ФАНТАЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Трудно предсказать сейчас с какими-либо подробностями, что понадобится для реализации полета человека на Марс. Специалистам придется увязать между собой и сбалансировать три критических фактора: общую длительность полета, время пребывания на Марсе и запасы топлива. При традиционном подходе, нацеленном на минимизацию расходов топлива, схема полета включает в себя девятомесечное путешествие к

планете, более чем полуторогодичное пребывание там и обратный путь от шести до девяти месяцев. Но хотя такая схема и экономична с точки зрения затрат топлива, столь длительная экспедиция выглядит пугающе.

Имеется, однако, и более быстрый вариант. Например, можно было бы запустить два космических корабля с интервалом 30 дней. Когда первый из них доберется до Марса, его экипаж опустится на поверхность планеты в малом челночном модуле. Тридцать дней спустя этот модуль взлетит, чтобы встретиться с другим кораблем, который затем продолжит движение по направлению к Земле. Преимущество подобной схемы в том, что не требуется затормаживать тяжелый корабль-носитель («матку») и переводить его на околомарсианскую орбиту, а затем вновь выводить на траекторию полета к Земле. Такая схема позволяет ограничиться значительно меньшими затратами топлива, сокращает время полета и вполне отвечает современному уровню техники.

Но даже в этом случае для пилотируемой экспедиции на Марс потребуются столь большие запасы топлива, что начальная масса корабля, монтируемого на околоземной орбите, составит несколько тысяч тонн.

Естественно применить для полета по межпланетным траекториям более эффективные источники энергии — ядерные. Ядерные реакторы послужат источником тепла, которое будет нагревать газ, заставляя его истекать из сопел двигателя и создавать реактивную тягу. При этом «рабочего тела», т. е. того самого газа потребуются существенно меньше по сравнению с топливом для жидкостных реактивных двигателей — в 2—3 раза.

Еще более эффективной двигательной установкой стала бы ядерная электрореактивная. Важнейшей ее особенностью является очень высокая скорость истечения газа. Если у реактивного двигателя, работающего на жидком водороде и кислороде, она составляет около 2500 метров в секунду, то у электрореактивного — 20—50 тысяч. Рабочего тела при этом потребуется уже в 15—20 раз меньше по сравнению с жидкостными двигателями.

Можно передвигаться в космическом пространстве и используя давление солнечного света. Впервые эта идея была сформулирована и обоснована Ф. Цандером в 1920 году. При современном уровне развития техники и космической технологии создание космических аппаратов, оснащенных солнечными парусами-двигателями площадью в тысячи квадратных метров, считается практически выполнимым, так как производство тончайших полимерных пленок, необходимых для изготовления

такого паруса, возможно уже сегодня.

В целом можно сказать, что с точки зрения техники полет человека на Марс представляется на нынешнем этапе развития космонавтики не более сложным мероприятием, чем в свое время экспедиция на Луну по сравнению с пилотируемым полетом по околоземной орбите. Другое дело — способен ли сам человек к столь длительному — минимум полтора года — пребыванию в космосе.

«Я с большим оптимизмом и надеждой отношусь к идее полета человека на Марс», — говорит академик О. Газенко, — и надеюсь, что люди сумеют это сделать. Тем не менее, несмотря на серьезные успехи в освоении космоса, мы еще не все знаем о реакции человеческого организма на воздействие факторов космического пространства и космического полета. Объем наших знаний пока недостаточен для того, чтобы дать научно обоснованный ответ на вопрос, может ли человек полететь на Марс».

И все-таки на сегодня достигнут почти годичный рубеж пребывания человека в космосе. Складывается впечатление, что человек может удовлетворительно адаптироваться к длительному воздействию невесомости, а по окончании полета — к земной гравитации и успешно возвращаться к плодотворной жизни на Земле.

Неразрешимых проблем не видно. Учитывая, однако, что речь идет о человеке, его здоровье и безопасности, каждый новый шаг в космос должен быть скрупулезно взвешен, опираться на самое тщательное, детальное изучение и вновь получаемых данных, и всего предыдущего опыта. Ничто не должно выпадать из поля зрения, включая отдаленные последствия космических полетов. Наука, в том числе космическая биология и медицина, должна накопить еще немало фактов о Человеке и Космосе, понять механизмы их непростого взаимодействия, помочь достичь гармонии взаимоотношений. В итоге этих усилий станет возможной и пилотируемая экспедиция на Марс.

ПЕРВЫМ ПОЙДЕТ РОБОТ

Полет человека на Марс несомненно был бы огромным успехом науки. Однако для решения всех марсианских загадок одного полета, даже с участием человека, недостаточно. Эта планета нуждается в детальных исследованиях, которые должны выполняться и с орбиты искусственных спутников, и на ее поверхности, и в ее недрах. Для проведения этих исследований присутствие человека необязательно. Лучшее

использовать умных роботов. Запуски к планете автоматических аппаратов позволили бы поэтапно отработать технику полетов и средств проведения исследований, выбрать наиболее интересные районы для последующих посадок, провести там необходимые изыскания. Словом, автоматам предстоит преодолеть громадную, назовем ее черновой, работу, прежде чем на поверхность Марса ступит человек.

Сроки запусков автоматических аппаратов будут определяться энергетическими возможностями выведения на траектории полета достаточно больших полезных нагрузок. Стартовать к Марсу нужно, когда он находится в «верхнем соединении с Землей», располагаясь с противоположной стороны от Солнца. До конца текущего столетия такие астрономические «окна» для марсианских стартов будут возникать примерно каждые два года. С учетом этих сроков советские ученые разработали поэтапную программу исследований Марса, конечной целью которой станет доставка на Землю до 2000 года грунта четвертой планеты.

МИССИЯ «ФОБОС»

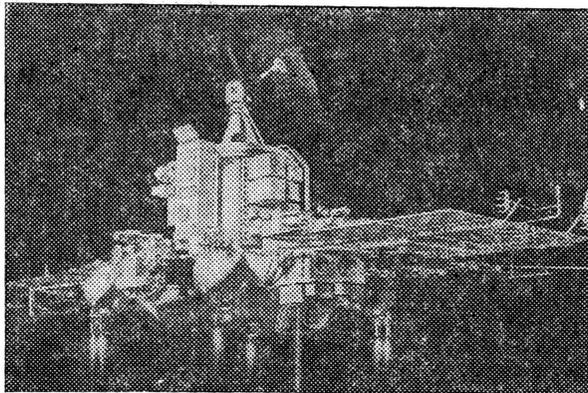
Июль 1988 года. Два советских космических зонда, оснащенные сложным комплексом научной аппаратуры, стартовали к Марсу. Спустя примерно год они пройдут на высоте лишь нескольких десятков метров над поверхностью Фобоса. Луч бортового лазера раз за разом пронзит его «грунт». Испарившееся вещество, которое не в состоянии удерживать слабое тяготение «мини-луны», будет выброшено в космос. Приборы-ловушки космического аппарата захватят его и выполнят подробный анализ.

Вслед за этим на Фобос десантируются два посадочных зонда. Один из них будет подвижным. Этот небольшой робот будет прыгать по поверхности, проводя первые в истории геологические исследования марсианского спутника. Другой зонд, наоборот, прочно утвердится с помощью специального ружья-гарпуна и примерно около года будет передавать на Землю ценные сведения. Эту информацию с нетерпением ждут советские ученые и сотрудничающие с ними специалисты из многих других стран.

Предусмотрен широкий комплекс исследований и самого Марса с борта космического аппарата, который будет двигаться по орбите искусственного спутника планеты.

Задуманная учеными программа исследований потребовала создания нового космического аппарата класса так называемых «высокоинтеллектуальных космических роботов». Аппарат был разработан в Научно-иссле-

Космический аппарат «Фобос»



довательском центре имени Г. Н. Бабакина.

Конструкция аппарата — одна из закономерных ступеней развития советских космических роботов. В ней просматриваются многие революционные линии технического прогресса, впервые в мире проложенные в советской космонавтике. Здесь кристаллизовался разнообразнейший опыт, в котором советское первородство бесспорно — первый облет Луны и мягкая посадка на ее поверхность; рейсы «Венер» и «Марсов» и многое другое.

Миссия «Фобос» может рассматриваться как первый важный шаг в реализации задуманной советскими учеными «марсианской программы». Следующий этап предполагается осуществить в середине 90-х годов. Это будут глобальные исследования поверхности и атмосферы Марса с помощью искусственных спутников планеты, азостатных зондов, вводимых в ее атмосферу, марсоходов, метеорологических зондов и зондов-пенетраторов, доставляемых на поверхность, субспутника, отделяемого от основного аппарата.

Одна из главных технических проблем марсохода — это управление его движением. Марсоход должен, например, уметь самостоятельно обходить препятствия, которых двадцать — тридцать минут назад не было на его пути. Примерно столько времени понадобится радиосигналу, чтобы преодолеть расстояние от Марса до Земли и обратно. Решение проблемы видится в том, чтобы сделать марсоход «системой-экспертом», придав ему определенные «интеллектуальные способности». «Земля» будет определять стратегию работы, а сам робот — тактику ее проведения. Если для орбитального аппарата это означает автономию в решении ряда навигационных задач, то для марсохода — это наивысшее по сложности автономное адаптивное (то есть приспосабливающееся к условиям) управление движением.

Создание таких самоуправляемых

роботов послужит не только космической науке. Оно принесет немало пользы и в земной практике. В частности, прототип марсохода использовался при очистке крыши Чернобыльской АЭС от радиоактивных обломков.

Программа научных исследований для марсоходов предполагается очень обширная. Она включает в себя вибропросвечивание глубинных недр планеты, что даст сведения о ее внутреннем строении; исследование состава грунта, анализ его микроструктуры и летучих компонентов. Марсоход позволит также получить большую серию панорамных снимков поверхности по трассе движения. С его помощью можно было бы осуществить и сбор образцов пород с большой площади и с глубин в несколько метров, при этом увеличивается вероятность обнаружения каких-то форм жизни. Условия ее существования в подповерхностных слоях грунта более благоприятны — стабильная температура, защищенность от ионизирующих излучений, достаточно высокая, по-видимому, влажность. Будет установлен на марсоходе и метеокомплекс.

ЗЕМЛЯ — МАРС — ЗЕМЛЯ

Доставка образцов марсианского грунта на Землю представляется наиболее сложным элементом предложенной советскими учеными программы исследований Марса. Возможный вариант — запуск двух автономных аппаратов: один из них совершит посадку на поверхность Марса, другой станет его спутником. Посадочный аппарат опустится в заранее выбранном месте, где его уже будет ожидать доставленный на планету в предыдущей экспедиции марсоход с собранными им образцами пород. (Марсоход будет играть и роль радиомаяка для посадочного аппарата.) Образцы пород перегружаются манипулятором во взлетную ракету.

Кроме того, часть образцов будет собираться в районе посадки

спускаемого аппарата небольшим марсоходом, размещенным на его борту. Он также оборудуется манипуляторами и грунтозаборным устройством, которое позволит взять образцы с достаточной большой глубины.

Взлетная ракета доставит грунт к орбитальному аппарату, состыкуется с ним, после чего образцы перегружаются в возвращаемый к Земле модуль. При полете к нашей планете он перехватывается орбитальной станцией.

Было бы целесообразно выполнить на борту станции первичный анализ марсианского грунта. Это позволит разрешить одну из трудных задач экспедиции — обеспечение карантина, исключающего заражение нашей планеты внеземными организмами, которые могут оказаться в доставленных с Марса образцах грунта, как бы ни была мала такая вероятность. Само собой разумеется, необходимо и стерилизация космического аппарата перед стартом с Земли, чтобы не занести на Марс земные микробы.

Доставка на Землю грунта с Марса позволит разрешить многие сложные вопросы природы этой планеты. Анализ минералогического состава образцов, содержания в них благородных газов и летучих веществ, а также распределения элементов поможет уяснить эволюцию Марса. Изучение изотопов даст возможность датировать породы и получить сведения о прежних геологических условиях на планете. Ученые надеются обнаружить углерод, воду и другие химические элементы, свидетельствующие о том, что на Марсе в свое время существовала жизнь. Не исключено, что будут найдены ископаемые остатки.

Проработки показали, в частности, что совместить возврат фотопленки с околомарсианской орбиты на Землю с выполнением всех других задач экспедиции будет трудно. Возможно, для проведения детальной фотографической съемки поверхности планеты с последующей доставкой пленки на Землю понадобится запуск специального аппарата. При этом облегчается и решение ряда специфических проблем, таких, например, как защита фотослоя от воздействия космической радиации.

Использование носителя типа ракеты «Энергия», способного доставить к Марсу значительно большую полезную нагрузку, открывает принципиально новые возможности в реализации марсианской программы. Одним стартом могут быть решены все основные задачи, включая возврат на Землю кассеты с материалами фотосъемки.

Может быть обеспечено одновременное исследование и значительно большего числа точек на Марсе при помощи марсоходов,

азростатных зондов и малых посадочных станций. Предварительные оценки показывают, что в одном запуске ракеты-носителя «Энергия» могут быть доставлены на планету сразу три марсохода — один тяжелый с возможностью глубокого бурения и два легких, несколько кассет с десятью метеомаяками каждая и большое количество пенетраторов.

Удастся снять и весовые ограничения в решении проблемы доставки грунта с Марса. В принципе можно было бы попытаться одновременно доставить грунт и с марсианского спутника Фобос.

Доставка на землю образцов марсианского грунта в варианте использования ракеты «Энергия», по сути, может стать решающим этапом отработки в натурных условиях элементов и основных технических средств будущей пилотируемой экспедиции — ядерной электрореактивной двигательной установки, марсианского посадочного корабля со взлетной ракетой на борту, корабля возвращения на Землю.

ПОЛЕТИМ ВМЕСТЕ

Предполагается, что в предложенной советскими учеными программе исследований Марса примут участие научные организации и специалисты многих других стран. Опыт проекта «Венера — комета Галлея» показал, насколько эффективной может быть такая кооперация. По числу участников из разных стран, непосредственно работавших над созданием техники и приборов, этот проект беспрецедентен. По сути дела, это был первый шаг на пути превращения космоса в открытую интернациональную лабораторию, к чему и призывает советская программа «звездного мира» — проявление нового мышления в космической практике. Очень важно не только сохранить дух научного сотрудничества, который возник в ходе реализации проекта «Вега» и еще больше укрепился при подготовке проекта «Фобос», но и далее развивать его.

Советские ученые уже сотрудничают в разработке «марсианской программы» с социалистическими государствами, Францией, Австрией, Италией и рядом других стран. Что же касается США, то пока советская и американская программы будущих исследований Марса рассматриваются независимо, лишь с некоторой координацией. Есть, однако, надежда и на определенное сотрудничество. По-видимому, какие-то американские приборы будут установлены на советских аппаратах. Прорабатывается вопрос совместных исследований советскими космическими аппаратами 1994 года и американскими аппаратами «Марс-обсервер» (старт в 1992 году), которые несколько лет должны находиться на околомарсианской ор-

бите. Это пока единственный утвержденный проект в американской программе исследований Марса. «Марс-обсервер» мог бы, например, принимать телеметрическую информацию от советских азростатов и марсоходов. Не менее важна организация совместной наземной сети для круглосуточного приема данных с искусственных спутников Марса. Особый интерес представляет координация исследований отдельных районов планеты. На борту американского аппарата «Марс-обсервер» планируется установить телевизионную камеру высокого разрешения, и он мог бы выполнить эффективное исследование районов предполагаемого десантирования марсоходов, пенетраторов и метеомаяков советской миссии к Марсу.

В дальнейшем мог бы быть произведен обмен информацией по метеорологии Марса, о характеристиках его атмосферы и поверхности, создан общий банк фотопланов и картографических материалов, организована совместная интерпретация результатов исследований. Итогом этой работы стала бы разработка объединенными усилиями инженерной модели Марса для ее использования в последующих этапах исследования планеты.

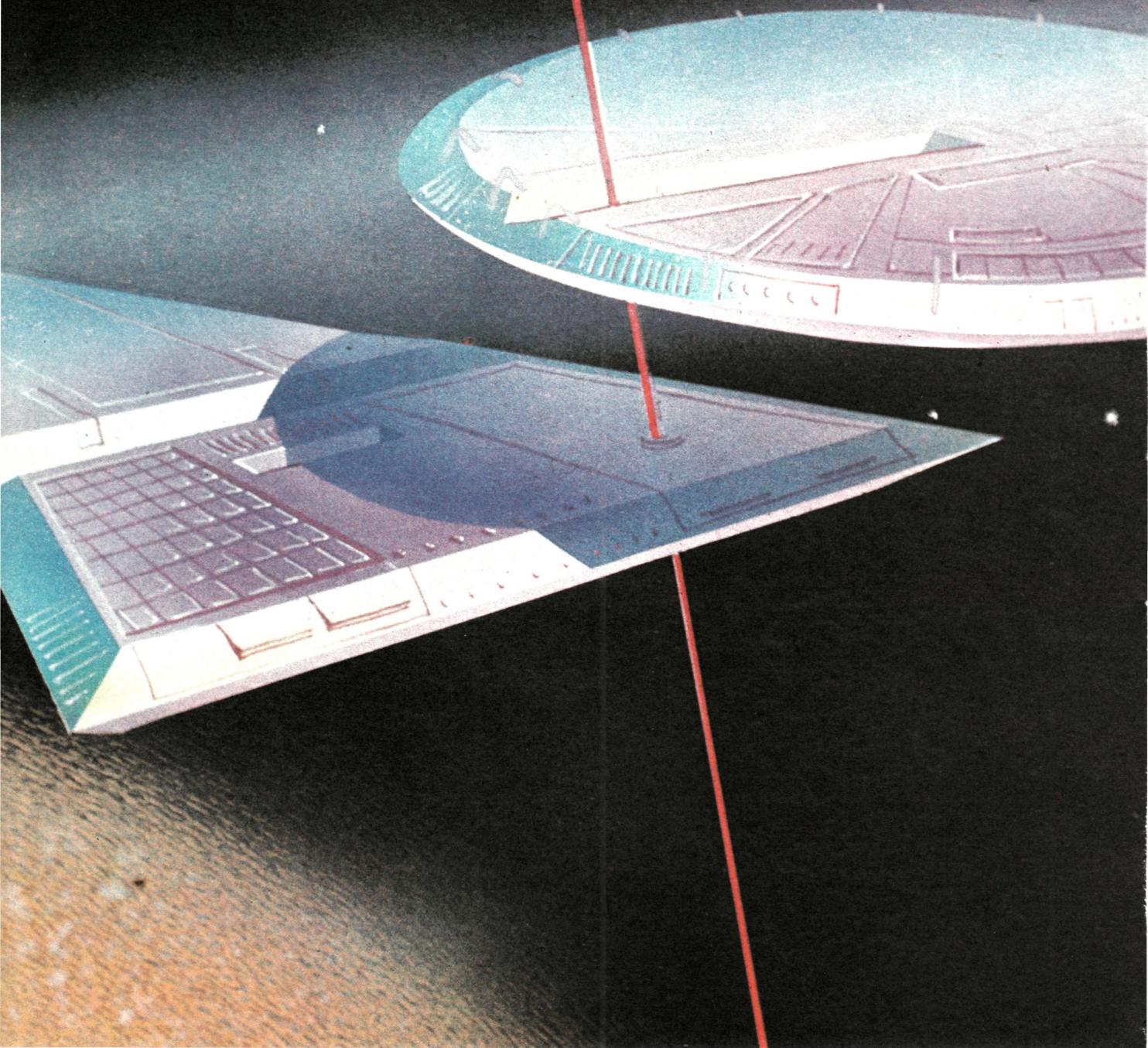
Полет же человека на Марс, по-видимому, вообще невозможен без международного сотрудничества. Напомним, что программа высадки людей на Луну стоила США двадцать пять миллиардов долларов. Стоимость марсианской пилотируемой экспедиции будет составлять по разным оценкам от 50 до 250 миллиардов долларов. Такие расходы обременительны даже для высокоразвитой страны. Вывод: необходимо объединение ресурсов разных стран. А чтобы такая экспедиция имела смысл, ее подготовка, включая предварительные полеты автоматов, должна вестись в рамках широкой международной программы долгосрочных исследований. Тогда это будет не просто пилотируемая экспедиция на Марс, а начало его колонизации.

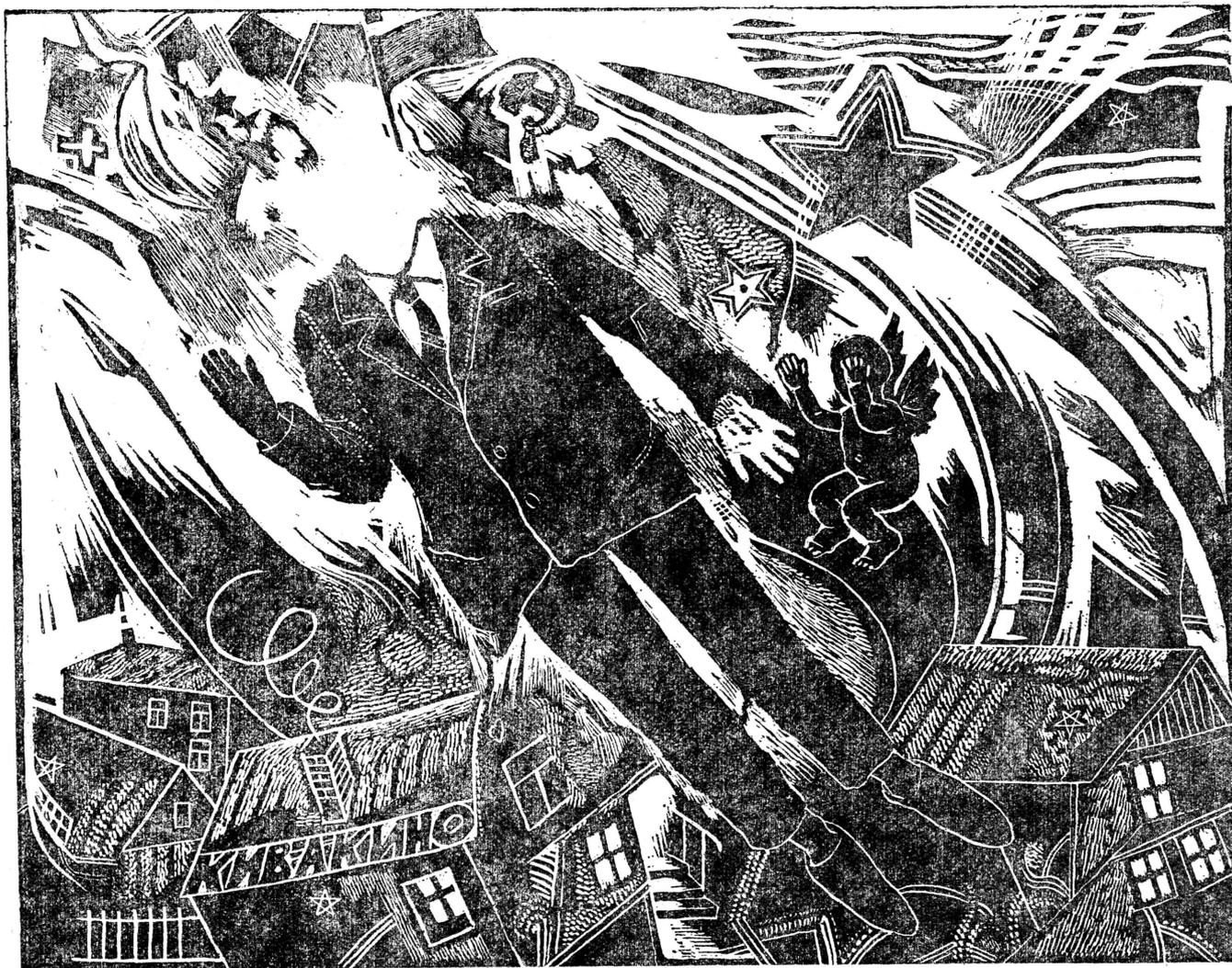
В дискуссии с американскими учеными по программам исследования Марса директор Института космических исследований АН СССР академик Р. Сагдеев предложил, чтобы одна сторона послала на Марс, например, самоходный аппарат для сбора образцов грунта и пород, которые будут затем переданы на борт космического корабля другой страны для доставки их на Землю.

Во время московской встречи М. С. Горбачева и Р. Рейгана «в качестве областей возможного сотрудничества» они отметили научные экспедиции на Луну и Марс.



AGATA 89





**Ветер северо-южный,
от слабого
до уверенного...**

Александр
ЧУМАНОВ

Рисунки
Сергея Копылова

Повесть



Раньше в этом казарменном здании располагался, наверное, довольно уютно, рядовой состав кавалерийского полка. О-о-о, сколько воды утекло с тех пор! И где теперь те кони и те лихие конники-рубачи, пожалуй, не подскажут ни архивы, ни сундурапы!

И вот уже нам, сегодняшним, невозможно даже представить, как все это могло быть в далекие геронческие годы. Хотя бы потому невозможно, что уж очень привыкли мы с подобающим благоговением входить под эти беленые своды, привыкли с подобающим почтением влипать в этот насквозь пропитанный эфирами сладковато-прииторный и от того плотный воздух, где еще недавно веселье и улыбочные люди скорбно таятся на широких и тоже белых скамейках в ожидании своей очереди.

Нет, ничто не может напоминать здесь теперь казарму. Ничто, скажем отчетливей, просто не смеет напоминать здесь бывшую казарму.

«Кивакинская райбольница», — вот какая табличка висит сейчас над входом в здание. И больница, и поликлиника, добавим для ясности.

А в общем, место для лечебного учреждения выбрано очень удачно. С пролегающего неподалеку тракта местного значения, то есть магистрали, по которой проходит за день до десятка машин, путнику видится аккуратенькая белая двухэтажка, утопающая в зелени прилежащего к ней парка, а вокруг, куда ни глянь, тихий и почти патриархальный пейзаж. Какие-то небольшие поля, какие-то малые строения сельского вида, опять же лесок сосновый, производящий высококачественный воздух. И никаких тебе, куда ни кинь взор, промышленных гигантов или же иных индустриальных объектов, могущих производить своей деятельностью вполне естественные шум и чад, не способствующие выздоровлению больных кивакинцев в сжатые сроки.

Кстати, и сам тракт местного значения не может считаться для больницы неприятным соседом, во-первых, потому, что расположен на достаточном удалении, во-вторых, потому, что движение по нему при любых натяжках нельзя считать интенсивным, а, в-третьих, потому, что благодаря тракту больница осуществляет сношение с внешним здоровым миром, получает новые партии заболевших, отправляет в Кивакино и дальше свою специфическую готовую продукцию. По тракту же курсируют туда-сюда зелененькие фургоны «скорой помощи», поскольку станция «Скорой помощи» находится все в том же здании.

Ну, а что видится путнику не с тракта, а с более близкого расстояния и даже изнутри? А видится ему, что зданию кивакинской райбольницы, а засно и поликлиники, уже очень и очень немало лет, что сложено оно из красного кирпича безо всяких архитектурных излишеств, ни балкончиков тебе, ни портиков, ни кариад, ни

фресок тем более, сложено давно, а побелено совсем недавно простой белой известью, что само по себе свидетельствует о невысокой сортности местных реставраторов, а также и самого сооружения.

Во всяком случае, современные здания аналогичного назначения чаще всего выложены с фасада силикатным кирпичом, а ежели уж красным — то сугубо специальным, отборным и красивым, побелка которого — не что иное, как оскорбление благородного материала.

И еще с близкого расстояния видится, что прибольничный парк слишком разросся и одичал, что он запущен и неухожен, а промеж огромных злохмаченных деревьев уже немало развелось всякой гнили и плесени, а кроме того, и мусора, разнообразных больничных баночек-скляночек, резиновых трубочек, однажды использованных бинтов и ваты, а также прочего, внушающего нормальному человеку особую брезгливость.

Видится также с близкого расстояния, что здание больнички все-таки очень невелико для пятнадцатитысячного городка Кивакино, тем более для Кивакина с сорокатысячными окрестностями, а посему главное белое здание давно уж обросло маленькими, типично сельскими строениями, в которых помещаются всевозможные вспомогательные, то есть совершенно необходимые службы. Это гараж, амбулатория, кухня, то-се. А рубленая избушка под вид баньки — не что иное, как местный морг, с уходящим в глубь земли специальным подвалом, которого с улицы, естественно, не видно, по который угадывается по высокому булыжному фундаменту. И дай вам бог, подольше не видеть его, этого подвальчика с одинокой лампочкой под потолком, с просторными нарами, начинающимися от самых дверей, которые никогда не бывают совершенно пустыми.

А внешне, повторяю, избушка смотрится обыкновенной уютной деревенской банькой, если не учитывать фундамент, но как-то так издавна вышло, что всякий житель обслуживаемых окрестностей, большой и малый, хоть раз по какой-либо надобности бывавший в больнице, знает, что помещается за бревенчатыми стенами и ниже. И каждый, несмотря на внешнее бодрчество, чувствует себя не очень-то уютно вблизи от этой, так сказать, баньки.

Кивакинцы называют морг старомодным, а оттого, как мне кажется, еще более жутким словом «катаверная». Откуда, из чего оно произошло, имеет ли хождение в иных местностях — неведомо. И как-то не хочется вызнать. Какая-то зябкость ощущается всеми квадратными дециметрами кожи, когда произносишь вслух или думаешь про себя это страшноватое словечко.

А если войти внутрь медицинского белого здания, то не трудно заметить, как бы это поделкатней выразиться, не трудно заметить явную нехватку вольготности (вот самое подобающее



словцо!) внутри. Ведь и там, в коридорах, откуда начали мы свой путь по бывшей казарме кавалерийского полка, далеко не все, пришедшие со своими болячками и серьезными болями, сидят на лавочках, многие стоят вдоль стен, с благовоением ожидая приема.

А еще не трудно заметить внутри, что тщательно побеленные потолки и стены, несмотря на всю эту тщательность, покрыты густой и сложной системой неистребимых без капитального ремонта трещин, сложность и густота которых сравнима разве что с мозговыми извилинами очень умственного человека.

Легко также заметить, что мало достижений коммунальной цивилизации хозяйничает в кивакинской райбольнице, что большинство достижений отнюдь не хозяйничает, а даже, напротив, и не ночевало в ней пока.

Кроме того, есть в райбольнице такие вещи, такие особенности, которые никаким, самым пристальным взглядом со стороны ничем не разглядишь, которые просто надо знать или же узнать у более сведущего, памятливого человека.

Особенности связаны с отметками по медицинским и общеобразовательным предметам, которые преобладают в дипломах кивакинских эскулапов, с наличием или же, напротив, отсутствием тех или иных препаратов и аппаратов, олицетворяющих достижения мировой медицинской науки, о кото-

рых мы с чувством признательности, гордости и умиления узнаем из газет и телепередач.

Да, кстати, вот небольшая загадка для бывалых: что означают буквы на больничных тапках, коими обмундированы местные стационарные больные?

А пока бывалые расшифровывают загадочные буквы, для не очень бывалых придется пояснить. Все просто — «ХО» — хирургическое отделение, а «ТО» — соответственно, терапевтическое.

И вот так разглядывая всего лишь шлепанцы стационарных больных, располагая некоторыми сведениями по истории вопроса, можно сделать интересное умозаключение, основанное на том, что никаких других литер, кроме «ТО» и «ХО» на казенных тапках просто-напросто нет. А еще сравнительно недавно были и «РО», и «ИО», и «НО»...

Впрочем, можно и другим каким-нибудь способом узнать, что в кивакинской райбольнице давным-давно осталось лишь два отделения. А родильное, инфекционное и наркологическое — расформированы.

Не потому, естественно, что кивакинцы перестали рожать. Рожают, да еще как, так усердно рожают, что все чаще не знают — от кого, хотя это, конечно, всеобщая особенность современной жизни, а не только кивакинская.

Не потому, естественно, что кивакинцы вняли совету санпросвета и никогда не садятся кушать

с невымытыми руками, еще как садятся, еще как после этого страдают дизентерией.

Не потому, что кивакинцы совсем перестали злоупотреблять спиртными напитками.

А просто теперь данные больные получают нужную помощь в других окрестных городах и селениях. Там, где их соглашаются пользоваться. Бывает, возит-возит болезного кивакинца санитарный фургон, да где-нибудь и пристроит. Мир все еще не без добрых людей, хотя все трудней их становится разыскивать, особенно добрых людей при исполнении служебных обязанностей. Потому каждый раз в конце квартала больничные фурунчики по несколько дней томятся без бензина. То есть без всякого количества движения.

И при желании вполне можно убедиться, что кивакинская райбольница стала тесна, перестала удовлетворять современным требованиям. Причем так: вчера еще вполне удовлетворяла, а сегодня чуточку не удовлетворяет. Иная формулировка почему-то категорически не устраивает некоторых деятелей, а мы не можем пока еще совсем не прислушиваться к мнениям деятелей. Вот какая штука. А впрочем, самого факта неудовлетворения никто начисто не отрицает.

Но зато, возвращаясь после излечения домой, кивакинец удовлетворенно подсчитывает убыток. Подняв глаза к потолку, он производит в уме довольно сложные вычисления, загибает пальцы и кусает губы, рассуждая про себя, а то и вслух примерно так: «Питание да обслуга, лекарство да белье, процедуры всякие, то-се. В общем, не меньше червонца за день, нет, пожалуй, рублей двенадцать...»

Бывший больной умножает эту сбалансированную цифру на количество проведенных на казенных харчах дней и полученную сумму, точнее, произведение несет сдавать в сберкассу.

Кивакинец полагает, что таков полученный им доход от болезни, благодаря бесплатному медицинскому обслуживанию.

Ух, и зажиточно стали в последнее время жить кивакинцы, особенно те, что послабже здоровьем!

Безусловно, этот взнос на черный день или же, наоборот, на счастливый день бывшему больному удастся сделать лишь в том благоприятном случае, если он не попал в известную бревенчатую «баньку», что посреди больничного двора. А если попал, так что ж, значит, сбереженные денежки спикали, значит, придется потратить их на торжество, требующее год от года все больших расходов. То есть этот вариант убыточен, хотя, конечно, рано или поздно расходы неизбежны, и выходит, что раньше — дешевле...

Короче говоря, в смысле перспектив, все для кивакинских граждан в руках всевышнего. Есть он в природе, или же он отсутствует — не влияет. Ведь в кивакинской земской, простите, районной больнице не боги горшки обжигают. А если бы

и боги, то где бы они достали божьи препараты и аппараты?..

Но если все-таки гражданину еще рано в бревенчатую «баньку», если судьба велит ему идти из больницы прямоком в сберкассу, то мигом забывает он про унылые дни, про кормежку из расчета «рубль в сутки», про хитросплетение трещин над бедной головушкой, про вредный персонал, начисто забывший русское слово «милосердие», про захламленный парк за окнами, про красный транспарант на гараже, намозоливший глаза так, что уже до самой смерти не позабыть о том, какой наш сегодняшний всеобщий курс.

То есть про транспарант бывший больной мигом забывает, а про то, что «ускорение — наш курс», — нет. Более того, ему почему-то вечно помнится, как через правильные эти слова на транспаранте проглядывали другие, не менее правильные с виду: «Экономика должна быть экономной», а также и совсем древние, почти неразличимые: «Болтун — находка для врага!» Тоже, как будто, справедливые. Вот ведь загадка избирательности человеческой памяти.

Между прочим, все эти крылатые и летучие фразы при желании можно очень игриво толковать, учитывая специфику учреждения, которое они украшают, но мы воздержимся от игривости. Воздержимся и от сопоставления бесспорных истин, предлагаемых нам в качестве основных, выглядывающих друг из-под друга по иронии судьбы. А просто осознаем, как все-таки много материалу требуется для оформления злободневных транспарантов, осознаем, как важно экономить дефицитный материал, пока еще нет опасности разлагающего изобилия.

2.

Бывший общественный деятель районного масштаба, а теперь, стало быть, рядовой человеческий фактор и даже менее того, поскольку пенсионер, Владлен Сергеевич Самосейкин прихворнул. С вечера чего-то пучило живот, пучило, бурчало в нем солидным и протяжным басом, а потом начались довольно болезненные колики.

— Вот и все, — твердо и почти весело сообщил Владлен Сергеевич жене Кате, домохозяйке по складу души и призванию, что, однако, не мешало ей во все времена оны представлять себя при муже в качестве достойной супруги на различных мероприятиях. Какой-то женский талант позволял ей очень убедительно не выпячивать свое восьмилетнее общее образование, подкрепленное курсами младших продавцов, а более ничем не подкрепленное. Имелся, звать, особый талант у женщины, или что там бывает у женщин взамен таланта.

— Вот и все, — так твердо и почти весело сообщил Владлен Сергеевич жене Кате, — теперь каюк, отпрыгался Владлен Самосейкин по бе-

лу светилу, вся жизнь отдана людям. Рак у меня.

Он, надо заметить, вообще был максималист, никаких компромиссов и полутонов не признавал, за что и поплатился на самой заре Великой Перестройки своим немалым постом, а в масштабах заштатного Кивакина постом головокружительным.

М-м-да, не признавал, стало быть, старик полутонов, подчиненных, случилось, распекал так, что стекла во вверенном ему учреждении дрожали и люстры позвякивали, словно был он скрипач-виртуоз, вхожий в резонанс с окружающими хрупкими предметами.

Он кричал и топал на прощтрафившихся подчиненных, а также и на непроштрафившихся. Подчиненные знали его такую особенность и не очень-то боялись шефа, надо полагать, не очень боялись, если, немного пообвыкнув, легко переносили эти шумные вспышки гнева своего благодетеля, и, в общем, от этих вспышек никто ни разу всерьез не пострадал. Ну, разве что у одного новенького служащего, а по возрасту, конечно, довольно старенького, от профилактического ора случился с непривычки инфаркт да несколько слабонервных дамочек впало, естественно, не враз, а по одной, в легкий, типично женский обморок, против которого лучшее и зернейшее средство — самая обыкновенная вода из графина.

Но все это когда было! Он, Владлен Сергеевич, и вообще не помнил таких мелочей в текучке больших и срочнейших дел. Может быть, другой кто помнил?..

— Я горячий, но отходчивый, — невазойливо внушал Владлен Сергеевич всем. Но это и так было хорошо заметно.

А впрочем, взбучки нижестоящим были в те года делом обычным, были наивернейшим средством, чтобы взбодрить довольно-таки, прямо скажем, ленивый служивый люд.

Сам-то Владлен Сергеевич тоже ведь без накаток от вышестоящих не обходился, и были ему эти накатки вместо утренней физзарядки, нет, скорее, вместо массажа, он даже как-то к вело чувствовал себя, если несколько дней вынужден был обходиться без достойной нахлобучки.

И не то чтоб он осознанно нарывался на руководящий гнев ради приведения себя в состояние повышенной трудовой активности, но ведь нарывался-то регулярно, а выходит, что подсознательно стремился именно к этому, иначе что ж...

А вообще-то, давно ли мы все заделались этими цацами, к которым, как говорится, на бритой коже не подведешь? Давно ли мы, примерив на себя чувство собственного достоинства, остались довольны новообретением и уж теперь не расстаемся с ним нигде и никогда? Давно ли обзавелись личной гордостью и стремлением к независимости? Конечно, недавно. Да и не все обзавелись, хотя этого добра, по идее, должно на всех

хватать. Это же не стерлядь какая-то, не осетрина из спецраспределителя.

Но очень многим и вообще на дух не надо ничего такого, оборони бог, считают очень многие, от этой гордости. Куда с ней? На сберкнижку ее под проценты не положишь, не съешь, не выпьешь, и даже под задницу, чтоб мяче было жить, не пристроишь. И верно, для мягкости жить эта штука не годится никак.

Словом, другое это было время, совсем недавнее, а нам уже страсть как хочется убедить себя и других, будто, наоборот, очень давнее и к нам, ныне живущим, будто бы почти никакого отношения не имеющее. Мы теперь все вчерашнее с вчерашней же легкостью называем пережитком прошлого. Только раньше мы имели в виду одно прошлое, а теперь — другое. Всего-то и делов.

— Ах, — говорим мы, — да что вы такое вспомнили, ф-фу, да ведь это же когда было, ф-ффу, это же пережиток застойного периода, да как же можно, ф-ффу!..

Однако вернемся-ка лучше к нашему максималисту, к нашему бывшему общественному деятелю, а ныне пенсионеру, Владлену Сергеевичу Самосейкину.

Он, как мы помним, прихворнул. И в данном случае его максимализм выразился в безжалостном диагнозе, поставленном самому себе. Так уж устроен был Владлен Сергеевич, что едва у него начинало покалывать в груди, а пускай даже и с правой стороны, а пускай даже и в животе, в общем, едва у него начинало где-нибудь покалывать, так он сразу определял инфаркт миокарда или злокачественную опухоль. В зависимости от настроения. Реже — туберкулез и инсульт.

А потому, когда Самосейкин объявил своей преданной Самосейкиной о постигшей его неизлечимой болезни, жена, как это можно было ожидать от преданной жены, не грянула плашмя оземь, не забилась, не заголосила, не запрочитала что-нибудь типа: «Сокол ты мой сизокрылый, голубь ты мой ясный, деятель ты мой опальный! Ох, на кого же ты меня и весь кивакинский народ неразумный покидаешь! Ой, да не хочу я оставаться без тебя одна в этом постылом Кивакине, ой, да возьми меня с собой в сыру земельку, белый лебедь мой бескомпромиссный!!!»

Словом, жена Катя отнеслась к известию о болезни супруга слишком хладнокровно, хотя, конечно, не нам, посторонним, об этом судить, мы ведь не знаем, сколько раз уже Владлен Сергеевич объявлял о близкой неминуемой смерти своей с тех пор как Великая Перестройка отказалась от его забот и хлопот.

А объявлял Самосейкин о надвигающейся кончине уже много раз. Максималист — что поделаешь. Возраст у него был уже такой, что трудно, как ни крути, ожидать от организма полной безупречности в работе, это же не какой-нибудь космический аппарат. То и дело в этом организ-

ме что-то происходило, то со скрежетом поворачивались глубинные ржавые шестеренки, то цеплялся где-то в недрах шарик за ролик, да мало ли. И все это сопровождалось покалыванием, звоном, шипением и шорохом. Впрочем, часть этих звуков, а то и большинство лишь мнились Владлену Сергеевичу.

А он в приложении к себе не признавал никаких малых хвороб, ну, там, гастрита, тахикардии, бронхита, старческого слабоумия, он неизменно ставил себе самые громкие диагнозы.

Верил ли он сам этим почти ежедневным смертным приговорам самому себе? С одной стороны — конечно, ведь он же каждый раз впадал при этом в тихую панику. А с другой стороны — конечно, не верил. Каждый человек устроен так, что до самого конца цепляется за соломинку.

А тут что ж, от любого ведь из этих диагнозов можно запросто помереть досрочно, не дожидаясь, пока болезнь сама с тобой расправится.

Впрочем, это уже не про Владлена Сергеевича, это про другой сорт людей. Он же и ему подобные просто никак не могли быть такими слабонервными, чтобы помирать от каких бы то ни было слов. Он и ему подобные просто обязаны были быть закаленными всякими жизненными невзгодами. Уж такой это особый сорт людей — настоящие прирожденные общественные деятели. А Владлен Сергеевич Самосейкин только таковым и был.

Скажите, не слишком ли много противоречий в этой, своего рода, характеристике? А не больше, чем в самом человеке. Человек, это мое твердое убеждение, более противоречив, чем ему хочется про себя думать. Человек-деятель — и тем более.

А еще, как мне представляется, он придумывал себе самые страшные болезни, чтобы поугатать. Для начала свою преданную Катю, а через нее — и весь мир. Попугать, известное дело, чем — надвигающейся невосполнимой и безвременной утратой.

Он и понимал, что мир не напугается, что мир и не такие утраты принимал с полнейшим равнодушием, хотя кто-то за него всегда торопился утверждать, будто бы человечество еще сильней сплотилось благодаря обрушившемуся горю. Что делать, всегда же есть желающие высказаться от имени целого многообразного мира. Зуд, что ли, бывает такой у некоторых, бог его знает...

Словом, все это понимал матерый и опытный Самосейкин, но не мог отказать себе, по-видимому, в этом малюсеньком, призрачном удовольствии, в этой эфемерной сладости прикинуться умирающим и глядеть, глядеть вождеделенно, как нарастает и набухает народная скорбь. И вот ведь ничего такого не набухало, даже у родной жены, а он все одно усердствовал в этом нагнетании фальшивой трагедии.

А все сорт, все — сорт. Да бог с ним, кто из

нас без греха, без пунктика, без извинительных слабостей и страстишек. Никто. Из нас. Или они, общественные деятели, не из нас? А из кого? Сперва вроде бы из нас, а потом вроде бы и не из нас?

— Вся жизнь, отдана людям, — скорбно повторил Владлен Сергеевич.

— Сходи в больницу, вдруг еще не вся, — не очень-то стараясь придать голосу сострадательный и надрывный оттенок, присоветовала жена, — может, выпишут чего-нибудь...

— Что?! Как ты можешь?! Ты, верный друг и соратник! Как ты можешь мне такое советовать, Катюша! — так патетически возопил Владлен Сергеевич, только и дожидавшийся, по-видимому, этих именно слов.

То есть это был диалог, ставший уже почти ритуальным, отработанным до мелочей. Едва верный друг и соратник напоминала Самосейкину о больнице, сразу прорывалось из него его излюбленное отчаяние. Совсем уж смирился бывший общественный деятель со своей отставкой, но как вспоминал про спецбольницу, услугами которой только и воспользовался в свое время лишь два разика, да и то не всерьез, а ради профилактики, ради невинного отдыха от трудов, как вспоминал Владлен Сергеевич про эти далекие дни, так подкатывало к сердцу что-то горячее и колючее и требовало выхода в виде потока, а точнее, струи эмоциональных слов, отшлифованных жестов, требовало сочувствия, хотя бы молчаливого, поддакивания, хотя бы бессловесного, а лишь обозначаемого качанием головы.

Качать головой обязана была преданная Катюша, что она и делала, пусть не очень энергично, пусть довольно рассеянно, но Самосейкину достаточно было и того.

И он под беззвучный аккомпанемент Катиного качания головой пускался в скорбные сетования по поводу слабости материальной базы кивакинской райбольницы и связанным с этим напрямую низким уровнем медицинского обслуживания в районе.

Владлен Сергеевич вспоминал, как много он обил порогов сам лично, чтобы сдвинуть с места строительство лечебного центра, а он ведь действительно обил немало порогов, когда был настоящим общественным деятелем, а не бывшим. Он действительно искренне хотел помочь землякам с этим делом, знал ведь, как будут потом благодарны ему землячки за заботу, как припишут ему и не его заслуги в деле укрепления этой проклятой материальной базы, не знал только, что ему самому на старости лет придется, сберегая остатки здоровья, довольствоваться тем и только тем, чем довольствуются самые рядовые граждане, никакне не деятели хлонатного общественного фронта.

А вот если бы знал Владлен Сергеевич, так,

может быть, удвоил, утроил бы натиск на инстанции? Может быть.

Но скорей всего, если бы знать заранее, то удвоение и утроение усилий пошло бы не по линии пробивания нужного району объекта, а по линии усиления собственных позиций, по линии поднятия уровня собственной неуязвимости.

Хотя, что уж там, этот уровень неуязвимости он, Самосейкин, и так всегда держал на максимально возможной высоте. Что же делать, если и такая высота оказалась недостаточной, когда поднялась волна Великой Перестройки, оказавшаяся еще выше.

Вон какие зубры и вепри не устояли, когда с них спросилось вдруг, что им хочется перестроить в себе лично в духе требований свалившегося на их головы времени. Зубры и вепри подрастерялись, стали перечислять собственные недостатки очень самокритично.

Общественные деятели усматривали в своем моральном облике изъяны, соглашались считать себя, например, излишне горячими, даже порой невыдержанными, нетерпимыми к чужим недостаткам и чужим мнениям или же, наоборот, робкими, непоследовательными в проведении наилучшей генеральной линии.

Но ведь никто не смог и никогда не сможет встать и сказать, если к тому же тебя за язык не тянут: «Я — вор». Или: «Я — подхалим». Или: «Я — бюрократ». Потому что такие откровения лежат явно за пределами любых мыслимых правил игры в самокритику.

Словом, для некоторых перечисление собственных недостатков оказалось недостаточным, за них недостающее перечислили другие. Новые зубры и другие вепри.

Ну, и за нашего Владлена Сергеевича перечислили. Хорошо еще, что больших криминалов не нашлось.

И стал общественный деятель Самосейкин пенсионером. Даже и не персональным. Хотя этот-то вопрос он, не без оснований, надеялся уладить в не столь отдаленном будущем. Уверен был, что с течением времени многое потускнеет и забудется, всегда так было и впредь почему бы не быть.

Но до этого нужно было, как минимум, дожить. И вроде бы береженное и закаленное здоровье обнадеживало, а потому сверхобидной представлялась перспектива потерять его посредством искренних симпатий местных эскулапов.

И вот уж многожды так бывало, что стоило Владлену Сергеевичу вспомнить о кивакинской райбольнице, стоило всесторонне посетовать на несправедливую неизбежность отдать бывшее руководящее тело в руки самых обычных, а не спецспециалистов, как очередная неизлечимая болезнь проходила бесследно.

Таким образом за непродолжительное время Перестройки, то есть за время пребывания не у

дел, Самосейкин уже успешно излечился от, как минимум, четырех злокачественных опухолей, одной лейкемии, шести инфарктов миокарда и одного СПИДа.

Вот и на сей раз, стоило Владлену Сергеевичу излюбленно возопить по поводу своей искалеченной судьбы, своих незаслуженных обид, укорить верную подругу жизни и соратницу за необдуманные слова, как колики в животе явственно пошли на убыль. Они, конечно, не оставили сразу, но наметилась отчетливая благоприятная тенденция.

«Может, еще и не рак, почему сразу обязательно рак», — размышлял Самосейкин про себя, про себя — чтобы не сглазить отрадное явление.

Отсюда ясно, что его максимализм по отношению к собственным драгоценным болячкам, в конце концов, имел самое тривиальное происхождение, связанное с мнительностью, которая находится в очень близком родстве с порочной, но трудно одолимой праздностью. Или это и без того давно уже ясно?

Само собой, праздность Владлена Сергеевича была законной и заслуженной, но ведь и в его положении многие что-то придумывают, смиряют гордыню, где-то посильно трудятся, пополняя собственный бюджет и укрепляя сон. А чего им, если здоровье позволяет.

А вслух Самосейкин сказал, когда почувал, что колики проходят:

— Нет уж, Катюша, лучше я помру дома, на твоих нежных руках, чем отдамся нашим коновалам. Это простых работяг они еще могут иногда пользоваться с успехом, а мой организм так изношен руководящей работой, что требует много обхождения. Ну, а раз мне в спецбольнице отказано, значит, судьба моя преддetermined. Спасибо тебе, родная, за верность...

— Пожалуйста, — ответила жена, — ужинать будешь сейчас или погодя?

На этом ритуальный диалог закончился. Владлен Сергеевич сел покушать перед сном, все еще сохраняя скорбное положение губ, щек и подбородка.

Скорбное положение удалось исправить с помощью ужина, который, конечно, давно не содержал ни стерляди, ни осетрины, но был тем не менее отменный благодаря исключительному мастерству хозяйки. Ведь в самом деле, не продукты из спецраспределителя определяют некий руководящий рацион, они, в основном, служат показателем престижности и общественной значимости их получателя.

А рацион руководящий, может быть, мало чем отличается от обычного, если помнить о нашем всеобщем происхождении. И я подозреваю, что у самого Самого вполне может быть любимым блюдом жареная картошка, а от, допустим, крабов его выворачивает. Но он человек волевой, и по нему об этом ни о чем не догадаешься. Наво-

рачивает каких-нибудь кальмаров, а сам сияет от якобы наслаждения.

Впрочем, это уже чистейший домысел, автор никогда ведь не сидел за одним столом ни с кем из самых-самых. (Хотя никто не может заранее предугадать, что запел бы этот же самый автор, доведись ему попасть за такой стол. Он и сам не может предугадать.)

Итак, скорбное положение удалось исправить с помощью хорошего ужина. Самосейкин знал, что не следует много кушать перед сном, но не мог же он лечь в постель со скорбью на лице. Вдруг она так и прилипнет навеки.

Но и засыпая, Владлен Сергеевич продолжал переживать о спецбольнице, не об осетрине и стерляди, будь они неладны, а о больнице. Все же возраст у бывшего деятеля был не юный, это ж понимать надо. Но он бы до последнего вздоха занимался общественной деятельностью, несмотря на возраст, если бы его от этой деятельности не отлучили, хотя чего уж теперь...

Знать есть в ней, родимой, недоступная нашему пониманию величайшая сладость, е-е-есть!

3.

А едва Владлен Сергеевич заснул, ему сразу же начал сниться сон. И сон этот был такой длинный, что снился всю ночь напролет. Это была целая ночная эпопея, а не сон. И такая реальная с виду, такая неотличимая от действительности, что просто невероятно.

Небось, каждый видел сон и каждый знает, что обычно человек сознает нереальность происходящих с ним ночных приключений, смотрит на все с неким отстраненным интересом. Такие сны, похожие на художественные фильмы, всем нравятся.

Но Самосейкину было видение иное. Такое явственное, что прямо жуть. Владлену Сергеевичу привиделось, что он попал на обследование в кивакинскую райбольницу.

И вот, значит, пролежал он на обследовании сколько полагается дней, а потом главврач по фамилии Мукрулло ему и говорит:

— Мы знаем вас, Владлен Сергеевич, как человека волевого и мужественного и потому не считаем возможным скрывать от вас правду, какой бы горькой она ни была. У вас рак.

Ох, и жутко, и тошно, и горько, и кисло, и больно стало Владлену Сергеевичу от этих слов! Так тяжело, что и сказать нельзя. Вот ведь сколько раз он представлял, как ему сообщают эту страшную весть, со всеми подробностями представлял, уж, казалось бы, ко всему готов. Но, когда и впрямь сообщили, не удержался, всплакнул в отчаянии. Всплакнул, но потом унял слезы.

«Ишь ты, сволочь, о мужестве моем запел, а сам решил отомстить мне за плохую больницу,

за прочее. Насквозь тебя вижу», — вот что подумал, уняв слезы, бывший общественный деятель. И сразу, без всякой связи с предыдущим, поинтересовался про возможность операции дрожащим голосом. Это же все во сне происходило.

— Операцию, конечно, нужно бы сделать, — отозвался не очень уверенно врач, — но сами ведь знаете, какие мы все тут специалисты, одно слово — «ХО»! Я уж и в спецбольницу звонил насчет вас, думал, может, там прооперируют. Отказали. Наотрез. Мест, дескать, не хватает. Деятели, дескать, резать не успеваем. Во-о-т...

В общем, поплакал, поплакал этак-то Владлен Сергеевич, да и отдался Мукрулло под скальпель. Уж очень жить хотелось.

А тот операцию-то провел нормально, да что толку. Оказалось — поздно. Там уж, в животе-то, метастаза на метастазе и на метаметастазе.

Об этом тоже было бывшему деятелю сразу доложено.

— Да что ж вы меня добываете своими откровенностями, — зарыдал совсем безутешно Владлен Сергеевич и стал готовиться к смерти.

Катя от его постели не отходила, сама и укол-ы делать научилась, наловчилась, а под конец предложила позвать попа. На всякий случай.

Но Самосейкин от мракобеса, которому еще и деньги надо платить, отказался. Твердо отказался.

— Никакого бога нет, никаких попов не надо, все остается людям, — слабеющим голосом выдал Владлен Сергеевич и скончался.

Как убивалась по нему жена, он уж не видел. Но был уверен, что жена не подведет. В смысле, вдова. Был уверен, что вдова будет убиваться подобающе. Потому что соратница.

И только-только скончался Владлен Сергеевич, только-только сделалось у него в глазах темно, словно в шахте, исчезли звуки, запахи, ощущения и оборвались последние, не додуманные до конца мысли, словом, едва по всем приметам наступила нормальная необратимая смерть, как в самой глубине этой глубочайшей шахты обозначилось какое-то неуверенное сияние.

И неуверенное это свечение стало постепенно усиливаться, расширяться, приближаясь к усопшему, охватывая его со всех сторон легким серебристым облаком. И в этом свечении вновь различил Владлен Сергеевич свое до боли знакомое тело, прикрытое каким-то полупрозрачным одеянием, несколько тучноватое и подержанное тело, но еще вполне крепкое, еще годное, наверное, для некоторых дел.

В какой момент появились первые после смерти мысли, Самосейкин даже и не разобрал, пока непроизвольно и как-то отстраненно разглядывал окружающую обстановку, освещаемую слабым, непонятно откуда льющимся светом.

А впрочем, ничего того, что принято называть обстановкой, в обозримом пространстве не было.

А было именно пространство, некая полость, без стен, без потолка и пола, без мебели, вообще без каких-либо предметов, если, конечно, не считать предметом самого Владлена Сергеевича.

Он крутил головой во все стороны, но взгляд всякий раз не то чтобы упирался в окружающий колеблющийся сумрак, нет, взгляд, скорее, как бы увязал в какой-то плотной, но нематериальной, невидимой и неосязаемой субстанции. Удавалось видеть метра на два-три, не более.

«Тот свет, что ли? — подумал Самосейкин, — ого, «я мыслю, следовательно, я существую!».

И как только он это осознал, наполнявшая его до краев смертная тоска начала сжиматься, съеживаться, она зашевелилась, отползая в дальний угол мозга, чтобы затаиться там в ожидании своего часа.

Ведь в жизни всегда есть хотя бы маленький повод о чем-нибудь взгрустнуть, затосковать слегка. Вероятно, тот свет в данном смысле не отличается от этого.

А взамен тоски ощутил в себе Владлен Сергеевич уже целую гамму разнообразных чувств: любопытство, сожаление об оставленной за невидимой гранью супруге, а также многое другое, не вполне оформившееся, которое еще только должно было оформиться.

Но любопытство сразу ощущалось явственно и сильно.

Самосейкин осмотрел себя. На нем был надет какой-то просвечивающий балахон, причем надет прямо на голое, если можно так выразиться, тело, балахон из легкой белой ткани, типа нейлона, сшитый без каких-либо портновских излишеств, ну, просто прямоугольный мешок с дырками для головы и конечностей.

Нет, в гроб Владлена Сергеевича в таком виде положить, конечно, не могли, в гроб его наверняка положили в новом английском костюме, финских штиблетах и при часах. А это означало, что нейлоновый балахон — сугубо местная спецодежда.

На мгновение шелохнулась типично земная жалость, костюм стало жалко, но лишь на мгновение.

«Снявши голову — по волосам не плачут!» — бесшабашно махнул рукой Владлен Сергеевич, махнул мысленно, конечно. Кроме того, он ведь понимал, что никто, само собой, его новый костюм не присваивал, что надет он теперь на его же собственное, ставшее в момент смерти автономным, тело. А спецодежда, таким образом, выдана ему совершенно бесплатно и даже как бы в долг.

Обнаружив за спиной компактно сложенные крылья, Владлен Сергеевич моментально позабыл о каких-то презренных тряпках. Он сперва полодел от страха, но тут же задохнулся от буйного восторга. Все-таки всю жизнь он подавлял и убивал в себе романтические порывы, поскольку занимаемые им должности были слишком серъез-

ными для какой бы то ни было романтики. И конечно, никто никогда не знал, даже преданная Катя не догадывалась, что ее Самосейкин в душе большой романтик, и на роду ему была написана совсем другая доля.

Но мало ли что кому написано на роду, если человек — сам кузнец своего счастья!

В общем, обнаружив за спиной пару больших, похожих на гусиные, крыльев, Владлен Сергеевич задохнулся от восторга. Сразу же захотелось крылья испытать. Правда, было неясным, как же теперь управлять добавочной парой конечностей, есть ли в мозгах специальные центры управления полетом.

Он попытался, не задумываясь над этим, помахать крыльями. Вот просто взять и помахать, словно всю жизнь только этим и занимался. Вот так взять и как бы между прочим р-раз!...

С первой попытки не получилось, трудно ведь с непривычки захотеть не задумываться, со второй — тоже. Но с третьей крылья заработали. Как-то неуклюже и несинхронно, но начали действовать, задвигались на спине какие-то незаметные при жизни мускулы.

Крылья в распахнутом состоянии оказались еще больше, чем думалось вначале. И поднялась бы от них наверняка туча пыли, но не было пыли в этом ином мире.

Конечно, очень хотелось сразу и полететь, не откладывая, взглянуть на здешнюю землю с высоты птичьего полета, но, во-первых, не было под ногами ничего такого, что можно было бы с уверенностью назвать землей, во-вторых, не просматривалось над головой ничего даже отдаленно напоминающего небо, но, самое главное, нельзя же было взлетать ввысь без хотя бы мало-мальски отработанной техники пилотирования, а с высотой ведь не шутят.

(По-видимому, к этому моменту Владлен Сергеевич как-то нечаянно маленько призабыл, где находится. Иначе чего бы ему опасаться, ну, грохнулся бы с вышины, хряпнулся бы, сверзился. Да что бы с ним сделалось страшного на том-то свете!)

Поэтому, скрепя сердце, решил Владлен Сергеевич пока не рисковать. Рассудил так: раз крыльями его оснастили, то и пользоваться ими обязаны научить. Иначе зачем крылья?

А легкость в теле была необыкновенная, просто не могло быть такой легкости на предыдущем свете, легкость была такая, что, казалось, и крылья никаких не требуются, чтобы воспарить! С трудом удавалось удерживать себя от рвущейся из-под контроля несолидности.

(Да, и о том, что тело осталось где-то в другом месте, а потому легкость, переполнявшую Самосейкина, никак нельзя называть «легкостью в теле», он тоже как-то нечаянно маленько призабыл.)

Владлен Сергеевич прислушался. И отчетливо

различил долетающую откуда-то издалека едва уловимую благостную музыку, неясные приглушенные голоса, какие-то вопли. И решил пойти на звук. Ему уже, признаться, слегка наскучило находиться в одиночестве, кроме того, оставалось еще много неясностей, которые не терпелось прояснить. Ну, например, где он находится, поскольку мысль о «том» свете была еще пока что слишком непривычной, слишком дикой для ориентированного на оголтелый атеизм ума. И если все-таки мысль о «том» свете верна, несмотря ни на что, хотелось прояснить ожидающее Владлена Сергеевича ближайшее, а также, если представится возможность, и более отдаленное будущее.

А как только Самосейкин решил пойти на звук, тотчас у него под ногами образовалось нечто, напоминающее тропинку и состоящее из того же серебристо-гуманного материала, что и все окружающее пространство. Ему представлялось, что, пройдя несколько шагов, он непременно упрется в какую-нибудь преграду, но никакой преграды не оказалось, пространство, по мере надобности, раздвигалось перед ним и смыкалось позади, уплотняясь и темнея до черноты абсолютно черного тела, что, по-видимому, могло означать единственное: дороги назад — нет. Впрочем, ему назад и не хотелось.

Голоса и музыка между тем усиливались, усилились также нечленораздельные вопли, явно человеческие, но как-то не возникало мысли, что где-то кого-то пытаются, и было ощущение, что где-то кого-то хлещут березовым веником в жаркой баньке, и он орет от избытка чувств.

И вдруг Владлен Сергеевич как бы вынырнул из клубящегося серебристого облака. Оно осталось позади, рыхлое и подвижное, черным зловещим провалом внутрь, из которого доносило какой-то особенно зябкой прохладой. Вероятно, догадался Самосейкин, он только что миновал некий переходный тамбур между тем и этим светом.

Перед ним расстился нормальный земной пейзаж и даже более чем нормальный, если учесть, что оставил Самосейкин родимую землю отнюдь не в самую лучшую для нее пору, а в пору изрядной экологической изнахраченности.

Здесь же он увидел зеленую лужайку, речку, лес на горизонте, мирно пасущихся на лужайке упитанных барашков, а также разноцветных пичужек, порхающих там и сям. То есть таких райских уголков в окрестностях родного Кивакина в ту пору уже ни одного не оставалось. И Самосейкину сразу захотелось сделаться обитателем этой потусторонней местности. Тем более что на одном из пригорков он разглядел небольшой коттеджик, очень похожий на те, что строили в родном райцентре для разнообразных местных руководителей.

Но гораздо ближе к Владлену Сергеевичу, на самом, можно сказать, переднем плане этой идиллической картинки стояла высокая белая дверь,

сверху застекленная, стояла сама по себе и не падала, а возле этой двери толпилась изрядная очередь. Народ сидел на лавочках возле двери, а многие, кому мест на лавочках не хватило, терпеливо стояли рядом. Все были одеты в одинаковые белые балахоны, и очень трудно было различить в этой очереди мужчин и женщин.

Время от времени наверху коротко вспыхивала обычная электролампочка, покрашенная снаружи красной краской, дверь нешироко отворялась, и в нее протискивался очередной белый силуэт. Назад из двери не выходил никто, и с противоположной стороны было пусто, все та же лужайка, те же барашки...

И Владлен Сергеевич решил, что присмотреть и облюбовать коттеджик он всегда успеет (откуда только была уверенность, что квартирный вопрос решается на том свете так вот запросто?), коттеджик, подумалось ему, никуда не убежит, и двинул Самосейкин к людям. Это их приглушенные голоса слышались ему в переходном тамбуре, голоса, которые звучали теперь совершенно отчетливо.

— Вода все-таки лучше, чем смола...

— О теплопроводности я, признаться, не думал...

— Главное, не ври. Это тебе не на собрании, не на бюро, не на пленуме каком-нибудь, не перед женой мозги пудрить...

— Да уж, правда, она надежней. Хотя выбор-то у нас невелик — смола, вода, что там еще?

— Да еще, болтают, нитхинол, «синеглазка», которой стекла моют, знаешь, небось...

— Ой, боюсь я, братцы!

— Боись — не боись, все одно — не отвертеться.

— Скорей бы уж!

— С этим успеешь!..

— Здравствуйте, товарищи! — вежливо поздоровался Самосейкин. Он хотел показать, будто понимает, что на том свете все равны, хотел сказать: «Здорово, мужики!», но, поскольку очень трудно, повторяю, было определить пол этих бывших людей, томящихся в очереди, он решил поискать какое-нибудь другое, но равнозначное приветствие. Вот и искал, пока приближался к очереди, но когда совсем приблизился, то, помимо желания, вылетело это, наиболее привычное в обращении с народом. Уж очень долго был Владлен Сергеевич общественным деятелем.

(Впрочем, употребленное им приветствие — самое бесполое на сегодняшний день, самое «бисексуальное», да простит меня А. И., так что Самосейкин нашел именно то, что искал.)

— Ха! Здорово, коли не шутишь, то-варищ! Хотя, само собой, здоровей видали! — отозвался некто насмешливый, остальные же остались по-прежнему серьезными. Не ответили ничего остальные полупрозрачные.

Знакомых в очереди не оказалось. Все лица были чужие, бледные, напуганные какие-то.

Самосейкин предгавил, как он выглядит сам, и горько усмехнулся. Ни галстука, ни орденов, ни шляпы, как голый, ей-богу, даже хуже.

А между прочим, до самого последнего дня жизни он и понятия не имел, как это можно стоять в очереди. Он и не был уже никем, никакие льготы на него не распространялись, кроме обычных пенсионерских, но, вот ведь какая штука, едва он появлялся в магазине, в любой очереди всегда находился человек, который говорил:

— Идите, идите, Владлен Сергеевич, берите все что нужно, без очереди, разве мы не понимаем, не пристало вам тут с нами толкаться!

И Самосейкин, хотя и отнекивался совершенно искренне, отказываясь от привилегий, а все-таки брал нужный ему товар без очереди. И не то чтобы народ как-то особо уважал его лично, скорее наоборот. А просто так загадочно устроен русский человек, о чем Самосейкин предпочитал не ломать понапрасну голову.

А тут, на том свете, он вдруг отчетливо понял, что уж в этой-то очереди стоять все равно придется, что никто его вперед себя не пустит.

— А зачем очередь-то? — как можно добродушной поинтересовался Самосейкин у таких же крылатых, как и он, субъектов.

— Не зачем, а куда! — ответил тот, насмешливый.

Почему-то такое явное недоверие, такая нескрываемая неприязнь обижали и огорчали Самосейкина и почему-то страстно хотелось Владлену Сергеевичу подлизаться к этой неясно к чему стремящейся очереди.

— И куда же? — как можно наивней полюбопытствовал Самосейкин, обращаясь теперь уже непосредственно к насмешливому, лицо которого хоть и было определено новым для Владлена Сергеевича, но, однако же, напоминало что-то далекое и неуловимое. Впрочем, ему уже удалось заметить, что в этой очереди многие лица, одинаковые и невыразительные на первый взгляд, на второй взгляд напоминали кого-то, правда, без всяких надежд на то, что придет озарение.

— На распределение. А уж оттуда разлетимся, кто куда заслужил, — был ответ.

— Что значит «кто куда заслужил»? — попытался уточнить Самосейкин, но опять услышал в ответ нечто, ничего не проясняющее.

— А по совокупности грехов.

Да, хотя это и было нечто, ничего не проясняющее, но что-то оборвалось от этих слов внутри души.

— А ты кто сам-то будешь? — спросил знакомый незнакомец с неожиданным участием в голосе.

— В каком смысле «кто»?

— Ну, чем занимался при жизни, работал где?

Собеседник был еще довольно молод лицом, но лицо носило бросающийся в глаза неустрашимый и всякому понятный отпечаток, бесспорно свидетельствующий о пагубной неумеренности собеседника, которая теперь, конечно же, осталась в невозвратном прошлом.

— Общественным деятелем был до самого ухода на пенсию! — с невольной гордостью вырвалось у Владлена Сергеевича.

Видит бог, он не хотел выдавать эту свою гордость, не хотел высказывать здесь, в иной реальности ощущаемое им превосходство перед простыми смертными. Он очень боялся недоверчивых насмешек, ведь никаких доказательств, никаких документов и наград он бы не мог предъявить, в случае чего, сомневающимся. Но гордость проявлялась невольно.

И сразу равнодушные до этого лица выразили явную заинтересованность, дружно повернулись к Владлену Сергеевичу, но были на них написаны отнюдь не зависть, а, напротив, искреннее сочувствие и даже сострадание.

— Ну завидовать, батя, тебе не приходится. Нас, простых смертных, — в смолу да в кипяток, а вас, я даже и не знаю, что делают с вами. Ты при мне первый такой деятель в очереди. Хочешь, пропущу вперед, мне страсть интересно узнать, куда определит тебя всевышний. Хочешь?

Но Владлен Сергеевич уже не слушал не в меру разговорившегося грешника. Самосейкин хотел было незаметно улизнуть куда-нибудь подальше от зловещей двери, ведь он же сам к ней подошел, никто его сюда не гнал, и потому чуть теплилась надежда, что, если сделать вид, будто никакого отношения к этим людям, к этой двери, к происходящим за ней невидимым событиям не имеешь, то удастся как-то повернуть далеко вспять, избежать predetermined раз и навсегда участи. Наивная, конечно, надежда, но как же совсем без надежды?

Покинуть очередь, однако, оказалось невозможно. Был уже окружен Владлен Сергеевич со всех сторон некими бледными, невыразительными фигурами обычных с виду грешников, которые молча и невозмутимо теснили его, пытавшегося сделать независимый вид, назад, назад на уготованное для него судьбой место. То есть он уже получил это место, и за ним образовалось продолжение шеренги, а народ все прибывал и прибывал. И вполне возможно, что подпиравшие Самосейкина фигуры и впрямь были рядовыми претендентами на свое законное место в ином мире, вполне возможно, что они лишь случайно образовывали непреодолимую стену перед ним.

Но он сразу и утратил всякое стремление вырваться, сразу смирился с неотвратимым, как-то ссутулился, потускнел и съезжился, стал покорным и совсем незаметным, потеряв мигом всю

накопленную за долгие годы жизни представительность.

Впрочем, наверное, он правильно сделал, ведь если бы у этих бывших живых людей была хоть ничтожная возможность выбора, что бы их зыгнало в эту единую для всех шеренгу, что заставило бы с явным нетерпением ждать чуть более или чуть менее ужасную расплату за свою беззаботную, безответственную и безоглядную жизнь.

Просто, наверное, это последняя человеческая общность, куда, по всей видимости, уже приняли Владлена Сергеевича, была так удивительно устроена, как бы коротко замкнута сама на себя, что любой приближавшийся к ней уже не мог ее покинуть, а кроме того, и другим не давал пути к отступлению.

Если пораскинуть мозгами, такие человеческие общности, может, и не столь отчетливо выраженные, то и дело возникают и в жизни. Одни возникают само собой или создаются некоей организующей силой, другие в этот момент самопроизвольно или, опять же под воздействием внешнего фактора, распадаются без следа. Тоже своего рода диалектика, везде она, родимая, действует, куда ни кинься.

Словом, стал Владлен Сергеевич безропотно ждать своей участи и даже, как и большинство здесь, стал все сильнее желать, чтобы неизбежное свершилось скорее. То и дело вспыхивала Наверну красная лампочка, то и дело притворялась дверь, впуская очередного, так сказать, посетителя, но очередь не убывала. Не убывала и не росла, по-видимому, ее механизм был отлажен очень хорошо и действовал с безупречной ритмичностью.

Самосейкин уже и думать забыл о коттеджике, там, очевидно, размещался обслуживающий персонал местного потустороннего учреждения, не видимого за дверью, в состав которого, наверняка, закрыт путь простым смертным. От нечего делать, чтобы скрасить как-то томительное ожидание, Владлен Сергеевич принялся, стараясь сохранить на лице равнодушие, разглядывать вновь прибывающих, поскольку тех, кто стоял впереди него, он уже разглядел и потерял к ним интерес.

То есть вы, читатель, уже заметили, что опять в безбрежном массиве тоски смертной, охватившей было видного общественного деятеля, стали появляться маленькие, но быстро расширяющиеся бреши. Так, очевидно, сам господь устроил людей, чтобы они не слишком часто помирали от разрыва сердца, так устроил, чтобы всегда даже самая черная безысходность не могла быть абсолютно черной.

А дальше — больше. Стал Самосейкин прислушиваться к льющей в этом мире отовсюду музыке, пытаясь от скуки различить в ней знакомые места. Но как не было среди вновь прибывающих знакомых видных общественных деятелей, с которыми можно было бы поговорить по душам,

посочувствовать друг дружке, так и не попадалось в этой бесконечной мелодии знакомых сочетаний звуков. Было сверлящее ощущение похожести на что-то известное, но это ощущение не переходило в уверенность. Да и не ждал какой бы то ни было уверенности Владлен Сергеевич, он уже осознал, что в этой бесконечной неопределенной похожести состоит одна из особенностей здешнего мира. А стоило ли с ней разбираться или же просто привыкать к ней — тоже ведь ясности не было.

Крики грешников между тем доносились из-за дверей все громче, все отчетливей. Но они не леденили кровь, не сжимали сердце тисками ужаса. И не потому, что не было в том, что называлось теперь бывшим общественным деятелем Самосейкиным, ни сердца, ни крови, а потому, что просто-напросто не казалось, будто где-то рядом вопят люди от нестерпимой боли. Уж как-то очень лениво, без энтузиазма, что ли, без подъема они вопили. Как-то невзаправду вопили невидимые грешники. Но, с другой стороны, какие-то уж очень продуманные, можно сказать, изящные конструкции строили эти несчастные из ругательных слов. Человек, орущий от дикой, безумной боли, а именно таковая бывает даже при незначительных, моментальных ожогах, пожалуй, не способен на это. Ему, хоть что тут говори, не до изящств.

И обнадеживающе думалось Владлену Сергеевичу, что, может быть, «не так страшен черт, как его малюют», может быть, человеку бестелесному всякая кипящая вода и даже смола — просто «тьфу» и все. Может быть, если эта попытка продолжается десять тысяч лет кряду, то она уже становится и не пыткой, а чем-нибудь вроде надоевшего до чертиков культурно-массового мероприятия, от которого никак не отвертишься, пока оно не кончится само собой. Иначе откуда бы такая явственная скука в голосах истязаемых, такая отточенность и отшлифованность текста?

То есть, как мы видим, через совсем непродолжительное время разрывы в объявшей Владлена Сергеевича тоске стали весьма значительными, сравнимыми с нею самой.

«Кстати, откуда такие сроки? — вдруг возмущенно подумалось бывшему общественному деятелю, — что это за варварские сроки — десять тысяч лет?! Ведь что-то должно стимулировать желание грешника исправиться! А разве такие бесконечные сроки стимулируют примерное поведение? Что они там, с ума посходили?! А сам господь наш все милостивый, наверное, и не в курсе?! Положил на помощничков, как это часто бывает, а они и рады стараться, накрутили сверх всякой меры! Знаем мы таких помощничков, которые любое правильное и мудрое решение доводят до полного абсурда, а до самого позорного и махрового идиотизма, а в случае чего остаются ни при чем.



Нет, вы только подумайте: десять тысяч лет! Ну, понятно, здесь иные масштабы, иные ресурсы времени, но должен же быть какой-то предел!»

Бессильный и праведный гнев клокотал внутри грешника Самосейкина (да, вот уже и гнев!), но внешне он оставался совершенно спокойным, унылым и равнодушным, как и большинство стоящих в этой очереди. Ну, он-то ладно, столько лет на ответработе не могут не научить безупречно владеть своим лицом, сдерживать любые эмоции, а как это удавалось остальным? Непостыжимо! Или у них и впрямь не было никаких эмоций?

Однако долго ли, коротко ли стоял в последней своей очереди Владлен Сергеевич, но настал и его черед. И хотя был он уже вроде бы ко всему готовым, был философски спокойным внутренне и ангельски кротким внешне, но все-таки на самом последнем рубеже забила его грешная душонка под нейлоновым балахоном, только балахон и удержал ее в надлежащем месте, забила и затрещала, словно схваченная прямо в полете птичка.

Глянул Владлен Сергеевич последний раз на своих бесплотных, насквозь просвечивающих соратников, глянул на уютный до слез мирок, в котором словно приклеенное к небу солнышко так и не сдвинулось с места за столь долгое время. Э-э-х-ма!

— Прощайте, братцы, желаю вам тепла и

уюта на всю предстоящую вечность! — хотел беспощадно и лихо попрощаться Самосейкин со ставшими почти родными грешниками, но как-то уж очень сильно прозвучали эти слова, как-то очень уж небодро и вообще жалобно.

И шагнул Владлен Сергеевич в неизвестность. И дверь за ним легко, но неумолимо затворилась.

Вся обстановка открывшегося перед ним помещения очень напоминала камеру для средневековых пыток. Во всяком случае, камеру для средневековых пыток Владлен Сергеевич представлял себе именно такой.

Низкий каменный потолок, дымящийся факел в углу, не разгоняющий зловещую тьму, а как бы расталкивающий ее по углам, под лавки; стол посередине и некто всезнающий и всевидящий за ним, а также один или два дюжих молодца с волосатыми руками, с потными блестящими торсами, верные помощники тщедушного, но жестокого и коварного всезнающего. Ну, и всякие инструменты для заплочных дел.

Впрочем, инструментов не было. Дюжих молодцов не было. А за столом сидел не один всезнающий, а ровно десять. В центре, по-видимому, — сам всемилостивый, а по бокам — комиссия. Обо всем этом Владлен Сергеевич мигом догадался.

— Здравствуйте... кг-м... коллеги! — с достоинством поздоровался он. Всякая внутренняя паника куда-то исчезла. Просто какое-то безразли-

чие нашло на него, сказались, по-видимому, предшествовавшие этому сильные и продолжительные переживания.

За столом послышался сдавленный смехок, и старенький господин сразу бросил на несерьезного помощника своего строгий взгляд, отреагировал мгновенно. Вот тебе и старенький.

— Ты это, шутить потом будешь, в другом месте, — сказал господин Самосейкину. И слова эти были бы вполне злобещи, но произнес их господин добродушным тоном.

— Ну, что там у него в личном деле? — поинтересовался всевышний, поднеся к глазам очки, лежавшие до того на столе.

Владыка Вселенной был невысокого роста, с нимбом над головой, как и полагается, однако имел еще почти черные волосы, зачесанные назад, большие залысины имел, а плешь — нет. Самыми приметными на его лице были густые, широкие, черные-черные брови.

Господин старательно и медленно выговаривал звуки, и было ясно, что у него вставные челюсти на присосках. Причем нижняя челюсть то и дело поровит вынасть и за ней надо постоянно следить. Да-а-а, господин был очень старым.

«Почему же он не передает свой пост другому, сильному и энергичному? Либо некому передать, либо, скорее всего, господин уже в такой стадии, когда невозможно понимать простую истину: лучше уйти рано, чтобы потом тебя вспоминали только добром, чем досидеть до полного маразма, до посмешища. Типичное, между прочим, дело», — так думал Владлен Сергеевич, пока старик листал его личное дело, то есть Самосейкин знал главную заповедь номенклатурного работника, понимал ее правильно, но, как это случается в абсолютном большинстве случаев, только по отношению к другим, но никак не к себе. «Типичное, между прочим, дело», говоря его же словами.

Однако всевышний что-то уж очень долго листал дело простого смертного Самосейкина, в другое время это бы обеспокоило, но теперь почему-то нет. Владлену Сергеевичу было просто очень скучно, и он стал рассматривать членов комиссии.

Этот задверный мир, по-видимому, сохранял многие свойства предыдущего мира в том смысле, что здешние лица тоже казались неуловимо знакомыми, но нечего было и думать, чтобы окончательно вспомнить их.

А комиссия была как комиссия, члены — как члены. При желании и наличии опытного глаза легко угадывалось, как распределены роли среди этих, тоже своего рода общественных деятелей. Кто из них почетный председатель, кто — первый зам, принимающий решения, кто — специалист и собиратель всех фактов, а кто — просто голосователь. Причем такой голосователь, который никогда не подведет и всегда проголосует как полагается, иначе зачем бы его вводили в комис-

сию. Глаз Владлена Сергеевича имел значительный опыт. Не зря же он назвал сидящих в пещере коллегами.

Он остановил свой взгляд на тщедушном юноше, съжившемся в самом конце длинного стола, в полумраке. Молодой человек, а наверное, уже архангел, был, в аккурат, явно из тех, из голосователей, а потому Владлен Сергеевич глядел на него с сочувствием и даже как бы по-отечески. А молодой архангел, или как его там, ежился под его взглядом и отводил глаза.

«Эх, парень, парень, — думал про него Самосейкин, — небось надеешься со временем стать таким же, как они. А пока не стал — готов на все, готов голосовать за что угодно. Пока. И думаешь, что главное — выбиться в члены комиссии. Выбиться и сидеть членом, пока тебя не двинут дальше.

Не двинут! Посидишь сколько-нибудь, а потом тебя заменят таким же. Чтобы, значит, соблюдался принцип сменяемости кадров. И будешь ты потом вечно вспоминать эти недолгие радости эфемерной власти. И то дело — огромному большинству и того не вспомнить...»

Молодой архангел чуть покраснел и еще больше потупился. Остальные никак не реагировали. А Самосейкин вспомнил, что в этом мире даже и мыслям надо давать укорот, поскольку даже и они не могут быть секретными для здешних деятелей, суверенными. Вспомнил и ужаснулся. Он снова обрел способность ужасаться, то есть вернулся к нему инстинкт самосохранения или, в данных условиях, инстинктивное стремление к тому, чтобы устроиться как можно лучше. А для этого надо было хотя бы дать укорот компрометирующим мыслям. И, как ни странно, это удалось. Вернее, почти удалось, поскольку компрометирующие мысли все равно нет-нет да и посещали Владлена Сергеевича и в дальнейшем, правда, намного реже, чем если бы он не взял их под свой контроль.

А старенький господин, похоже, всерьез относился к своим обязанностям. Это было видно из того, как внимательно изучал он досье каждого своего раба. Или не каждого? Или только тех, кто был у него на особой заметке? Или, может быть, тех, кто вправе был рассчитывать на его покровительство, на его, правильной говоря, милости?

Ничего этого Владлен Сергеевич знать, понятно, не мог. А посему все более волновался.

— Так-так, — сказал господин, ознакомившись с делом и откладывая его в сторону, — сам-то что-нибудь хочешь нам заявить?

Такое сверхнеожиданное обращение сразу к нему всемилостивого на мгновение лишило Владлена Сергеевича дара речи. Но только на мгновение, а после дар вернулся к Самосейкину, и он поспешил им воспользоваться.

— Товарищ, м-м-м... бог! Ваше, м-м-м... все-

общее величество! — сразу взял быка за рога Самосейкин, то есть начал круто, как и подобает настоящему максималисту, — сознаюсь — всю жизнь заблуждался. Но заблуждался искренне. Вот вам крест. Я был обманут и готов понести соответствующее наказание за излишнюю доверчивость. Мне с детства внушали, что вас нет, и я верил. И потом сам кое-кому внушал то же самое. А теперь, воочию убедившись в обратном, готов сквозь землю провалиться со стыда...

— Уж провалился, только не со стыда, — вставил кто-то.

Но Самосейкин не обратил на реплику никакого внимания, он спешил выговориться, он понимал, что его время не может не быть ограниченным, это не дома в Кивакине, где он числился видным общественным деятелем и во многих случаях мог плевать на регламент.

— ...Но у меня большой опыт организаторской работы, и я думаю, что, если бы мне удалось обратно воскреснуть, то я бы всю свою жизнь посвятил пропаганде ваших идей.

Однако, понимая, что это невозможно, прошу лишь учесть мое искреннее чистосердечное раскаяние и не наказывать меня за этот грех слишком строго. Заверяю, что в моем лице вы, ваше вселенское величество, обретете истинного поборника ваших великих идей, преданного раба, правильной выражаясь.

— Так-так, — снова неопределенно произнес господь после некоторой паузы, — так-так. Обманутый, говоришь, лжецами введенный в грех?

— Истинный крест! — с готовностью подтвердил Владлен Сергеевич. А нужная терминология бралась неведомо откуда, специфические словечки слетали с языка с удивительной легкостью. Предупреждение об опасности лицемерия как-то выскочило у Самосейкина из головы, — обманули сволочи, если б я их сейчас встретил, я б...

— Встретишь, — прервал Самосейкина господь, — однако и лицемер же ты, братец, широко эта зараза среди вас распространилась. Как чума в средние века. Если б от этого умирали, мор получился бы беспримерный.

Не пойму, как такое получилось. Сам, наверное, виноват, недосмотрел, недоучел. Как теперь исправить — ума не приложу. Кончать, что ли, с вами пора?..

Господь на минуту задумался. Никто не посмел прервать паузу. Самосейкин прервал бы, но опять у него язык будто окаменел.

— Да, изоврались вы, ребята, капитально, — продолжил всевышний после паузы, — и в этом ваш главный грех, а не в безверии. Ну, с тобой-то ясно, «видный общественный деятель», тебя положение врать обязывало, а что вы с народом сделали, окаянные?!

— Ишь ты, обманули его, агнца божьего! — всемилостивый ругнулся матом. — Ну, ладно, обманули и обманули. Заблуждался искренне, это

правда. Но зато и раскрылся во всей красе! Бога не боялся, а больше и бояться некого было. Думал небось: что раз того света нет, то и божьего суда нет, и все можно! Ну, и получай теперь все, что заслужил!

Какое мнение будет у членов комиссии?

Председатель быстро глянул на заместителя, тот едва заметно кивнул.

— У нас будет такое предложение, господи, — солидно изрек председатель, — вариться ему в кипятке вечно!

— Ну, что же, — не раздумывая прошепелявил господь, — я утверждаю это предложение. Аминь! Вечная мне слава!

— Вот так, — добавил господь, повернувшись к Самосейкину, — решение окончательное и обжалованию не подлежит. Сурово, но по совести. Я ее в каждого из вас вкладываю, куда же вы ее деваете в процессе жизни? Вот ты можешь мне ее предьявить? Я б, ей-богу, сразу все простил.

— Не могу, — едва выдавил из себя Самосейкин, — но как же так, господи, я ведь только успел тебя возлюбить! Только успел, а ты!... Э-э-х! Ну, потерял я ее, обронил где-то, а ты мне за нее... Всемогущий, что такое вечность?! Разве ж это возможно?! А амнистии-то бывают у вас?

— Никаких амнистий!

Тут поднялся из-за стола первый заместитель председателя комиссии, он оказался очень маленьким рыжеватым человечком, у него тоже над головой светился нимб, только поменьше, чем у всевышнего, а на губах его играла дьявольская улыбка.

Заместитель воздел свои маленькие ручки ввысь, какая-то неведомая сила подхватила Владлена Сергеевича и понесла в бездонную, пышущую нарастающим жаром тьму.

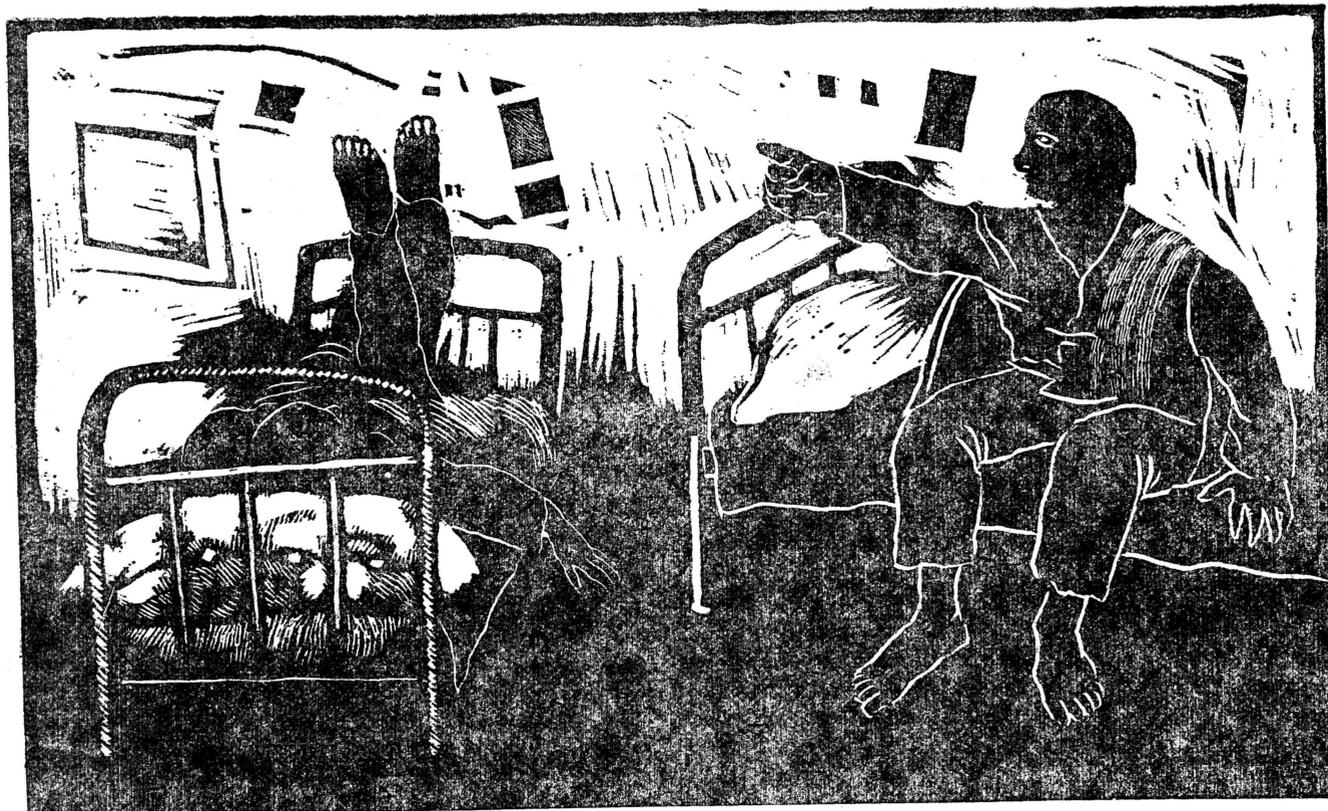
— Палачи, вешатели, долой, богомать, вся власть грешному народу, простите, я больше не буду!!! — голосил Владлен Сергеевич, но вряд ли его вопль был слышен господу богу и богovým подручным, а если и слышен был где-то по ту сторону белой двери, то, конечно, в отредактированном и причесанном виде...

Тут-то Владлен Сергеевич и проснулся. Утро еще едва брезжило, и он долго, наверное, минут десять лежал в постели, непонимающе лупал глазами, ждал адского огня. И только потом понял, что все предыдущее было только сном.

Но так сильно был взволнован Владлен Сергеевич, что уже не мог больше заснуть. Он даже не мог терпеть, пока проснется Катя, он разбудил ее, чтобы сейчас же рассказать ей свою захватывающую ночную эпопею.

Голос жены спросонья был таким недовольным, что желание рассказывать сразу исчезло. Но требовалось же сказать хоть что-нибудь.

— Слушай, Кать, — сказал Владлен Сергеевич, — когда я умру, пусть на моем памятнике будет такой текст: «Я тоже хотел спасти мир.



Господи, ради какой глупости потрачена жизнь!». Это серьезно, Катя, это мое завещание, запомни!

— Спятил, что ли? — буркнула жена. — Да за такую подпись меня же сразу оштрафуют! Скажут — хулиганство...

И она заснула снова.

Начинался новый день, а вместе с этим возобновились и колики в животе Владлена Сергеевича.

4.

Афоня лежал вверх постели в пижаме и пристально разглядывал потолок, а вернее, затейливые узоры на нем, составленные неистребимыми трещинами. Последние часа два он был занят тем, что пытался мысленно пройти по какой-нибудь из трещин от одного угла плоскости до другого. Он сделал уже несколько попыток, но всякий раз терпел неудачу из-за невнимательности глаза. И всякий раз начинал сначала, потому что ему вдруг захотелось именно сейчас начать воспитывать в себе выдержку и внимательность.

А вообще-то, надо же когда-то начинать воспитывать в себе всевозможные полезные качества, если уж не повезло с ними от рождения.

Но добиться желаемого результата в мысленном путешествии вдоль потолочной трещины никак не удавалось. И Афоня все заметнее нервничал, хотя против этого и была нацелена его пси-

хологическая тренировка. Ему страстно хотелось каким-либо способом взобраться к потолку и там провести необходимую траекторию пальцем. Хотелось так, что хоть вой от досады.

— Брось, Афанасий! — в который уже раз заботливым голосом посоветовал желтолицый и желтозубый дядя Эраст, занимающий соседнюю койку. Вернее — койку наискосок, у двери.

А вообще-то, палаты в кивакинской райбольнице были сплошь восьмиместными, так что соседних коек насчитывалось всегда семь, только какие-то были более соседними, какие-то менее. Но и это хорошо, если учесть, что раньше, когда в здании еще размещалась казарма, кавалеристы вообще любили почевать поротно и в два яруса.

— Счас, дядя Эраст, попробую еще раз и брошу! — оговзвался Афоня, стискивая зубы, — действительно, психом сделаешься от такого лежания.

— Бросишь, значит, слабак, — решил подзадорить Афонию третий сопалатник Тимофеев, мужчина солидный и основательный, — вот я дак запросто это делаю, хоть по диагонали из угла в угол прохожу, хоть — по периметру. Запросто делаю, потому что у меня и воля, и настойчивость, и усидчивость лежачая, и другие морально-психологические качества.

— Тыфу, — сказал в сердцах Афоня и сел на постели, — аж в глазах синенькие-зеленькие! А все ерешь ты, Тимофеев. Ерешь, потому что ничем нельзя доказать — прошел ты или не прошел. Я вот честно говорю: «Не получается!» А ты

врешь. Сам выдумал это дурацкое испытание на выдержку, меня втянул... Тьфу, зараза! Теперь и не отвязаться никак.

Обычно маленькая больничка всегда бывала набитой под завязку и даже более того, то есть обычно даже в коридорах лежали страждущие люди, но теперь как-то так удивительно совпало, что никто в Кивакине и окрестностях долго ничего не ломал, долго никому не приспичивало что-нибудь отрезать от себя. Затишье это было шатким и временным, готовым в любой момент смениться резким наплывом постояльцев. Но этот момент все не наступал.

В палате установилась привычная унылая тишина. И Афоня, сам не заметив как, начал потихонечку насвистывать какой-то мотивчик. Он, по-видимому, не мог жить без песен. Мир для него был, как говорится, без песен тесен. Он пел их редко, можно сказать, никогда не пел, ведь нельзя же называть пением бесконечное повторение на разные лады, а то и на один лад единственной невразумительной строчки. А чаще Афоня просто насвистывал или мычал запавший в ум мотивчик. Бывало даже, читал книжку, а сам в это же время мурлыкал едва слышно нечто расхожее.

— Прекрати эту песню застойного периода! — сразу отреагировал на почти неслышимый свист дядя Эраст.

Он тотчас по прибытии стал знаменитым в палате тем, что очень тонко и по-своему разбирался в песнях и умел в каждой, буквально в каждой отыскивать нехороший политический аспект. Ну, не то чтобы обязательно нехороший, но всегда, по меньшей мере, двусмысленный. Уж это — непременно.

Так, песней застойного периода в данный момент он счел литературно-музыкальное произведение, где рефреном звучали такие зажигательные строчки: «И говорят глаза: «Никто не против, все — за!» Повторяемые дважды.

И что любопытно — он всегда очень точно подмечал любой идейно-политический нонсенс хоть в чем, но в песнях — особенно. Дядю Эраста было решительно невозможно оспаривать.

Афоня даже проводил над стариком особый эксперимент, то есть, получив замечание, тут же переключался на другой мотив. Начинал бессловесно лялякать, ну, например, вот это:

*Гори, гори, моя звезда,
звезда любви приветная...*

— Прекрати белогвардейскую песню! — аж прямо взвизывался в общем-то добродушный дядя Эраст.

— Почему, ну, почему белогвардейскую! — вопрошали вконец заинтригованные товарищи по излечению.

— А потому, — наставительно и веско отвечал после эффектной паузы дядя Эраст, его, вероят-

но, окрыляла возможность поучать хоть кого-нибудь, — потому, что эту песню пел сам адмирал Колчак, когда его везли на расстрел.

И больше почему-то никаких подробностей у человека, столь глубоко знакомого с матерым врагом, никто не выспрашивал. Всем одной этой хватало.

А за окном в аккурат стояло бабье лето, и больничный парк был разноцветен, как половик.

Афоня прекратил насвистывать песню застойного периода, отвернулся от окна. Ему недавно сравнялось тридцать два в общей сложности (на счет «общей сложности» проясним чуть позднее), Тимофееву — сорок восемь, а дяде Эрасту — семьдесят шесть. Ну, что бы их соединило в жизни? Да ничто бы, конечно, их в жизни не соединило, если б не больница.

Вас, вероятно, интересует, кто же был в палате четвертым? Вы, по-видимому, подозреваете, что я просто-напросто позабыл о нем?

Ничего подобного. Просто четвертый, имени которого никто, кроме, разумеется, персонала, не знал, лежал у дверей и молчал, как рыба. Он на днях сушил паяльной лампой погреб и довольно изрядно поджарился. Опасности для жизни не было ни малейшей, но кожа сходила с него лохмотьями, в том числе и с лица, губ. По этой причине бедняга временно говорить не мог, и можно только предполагать, как это мучило его.

А у Афони было неправильно сросшийся перелом, который пришлось ломать заново да исправлять аппаратом Илизарова, так что теперь Афоня скакал с этим аппаратом на ноге и должен был надеяться на лучшее будущее, а еще на то, что местные специалисты правильно разобрались в рекомендациях курганского соратника. И скакать ему так предстояло немало дней.

У Тимофеева недавно вырезали аппендикс, это, кстати, была единственная возможность в местных условиях операции на внутренних органах, но что-то плоховато заживала рана, и Тимофеев уже несколько дней обретался на казенном коште сверх нормы, и было неизвестно, сколько еще дней прообретается. Другой бы на его месте уже исхудал от всяких мучительных подозрений и сомнений, но Тимофеев, казалось, только радовался тихой радостью и ни о какой выписке не мечтал. И его легко было понять — Тимофеев работал грузчиком, а эта тяжкая нетворческая работа слабо его привлекала.

Дядя Эраст находился в стационаре без определенного диагноза, а вернее, находился просто так. Он пребывал на госпитализации, потому что любил лечиться и был очень настойчив в достижении своей цели.

Выходя из больницы, старик сразу принимался утомлять докторов слезливыми просьбами о новой госпитализации. И примерно раза два в год его хлопоты увенчивались удачей. Такой удиви-

тельной настойчивости больше ни у кого в Кивакине не было.

Но все сказанное вовсе не означает, что какой-то особо зловещей личностью являлся дядя Эраст. Совсе нет! Хотя и был он старикашкой надоедливым, весьма настырным и нудным, то и дело намекал на какие-то свои старинные заслуги и связи, но все знали о его абсолютной безвредности, о его одиночестве и невеселом в целом житье. Знали и многие жалели в меру своих возможностей, чаще всего, конечно, жалели за государственный счет. Это, между прочим, очень удобно, никаких трат, а кажешься достойным любви и уважения человеком.

— Валя, Валя! — надоедал дядя Эраст медсестре, — я вас умоляю: поставьте мне какой-нибудь укол, что же это за госпитализация без уколов?!

— Да что мне вам поставить, если вы здоровый!

— Нельзя так говорить, девушка, разве в моем возрасте люди бывают здоровыми? Тем более если вся жизнь отдана самому прекрасному на земле.

На улице тем временем начинался дождь. Перед глазами у Афоня продолжал висеть разноцветный полосатый половик осени. По-видимому, из-за этого, а из-за чего больше, потянуло Афоню пофилософствовать на экологическую тему. И он сказал, ни к кому не обращаясь:

— Представляю, какой рай был бы на земле, если бы убрать с нее куда-нибудь человечество...

И несколько длительных мгновений эта фраза неприкаянно витала в спертom воздухе больничной палаты, поддерживаемая некими восходящими потоками. И Афоня уже успел подумать, что одно из двух — либо эта тема здесь никого не интересует, либо прихотливость его мысли такова, что не каждому дано поспеть за ней. Уже подумал Афоня, что ответа, точнее — поддержки важного разговора ему не дожидаться, как подал голос Тимофеев.

— Вот это нет, вот это, не могу с тобой согласиться, Афоня, рай-то, может, и был бы, да кому он нужен, если нету человечества?! Кому нужно все, если некому это все взять и скушать?! А, ответь мне!

— Это тебе не по трещинам на потолке мысленно путешествовать, Тимофеев, — засмеялся Афоня, довольный, что нашлась перспективная для разговора тема, — по-твоему, что ли, Вселенная только для того и существует, чтобы нам с тобой доставлять удовольствие?

— Ну, не так примитивно, но по сути — верно. Для чего же еще наша с тобой Вселенная существует?

Разгорающийся диспут прервала медсестра Валя.

— Всем лечь на живот и приготовиться к бою! — скомандовала она, по-медицински грубовато и весело.

— И мне тоже к бою, Валюша? — робко подал голос дядя Эраст, не успевший принять участие в экологическо-космической дискуссии. В его голосе звучала такая трогательная надежда, что отмахнуться от нее можно было только совсем не имея сердца.

— Ладно уж, так и быть, — пообещала добрая девушка.

И старик быстренько занял надлежащее положение, спустил до колен подштанники и замолк, боясь, как бы медсестра не передумала. Он лежал маленький и жалкий на своей постельке, стараясь не спугнуть мгновение.

— Две пачки махорки! — усмехнулся Тимофеев, глянув мельком на дряблые старческие ягодички.

Но старик не откликнулся. Он лежал ничком, чуть подвернув голову набок, и черный маленький глаз, наивно-хитроющий, испуганно-настороженный, глядел на мир, ограниченный белыми плоскостями.

Валентина сделала уколы, не обошла и старика. Что уж она ему там вкатила — осталось ее личной профессиональной тайной.

И больные умиротворенно затихли. Как ни говори, а укольчики были самым главным компонентом всего процесса постановки больных на ноги. Поскольку все остальное, кроме уколов, то есть сон, питание и разговоры друг с дружкой можно было бы осуществлять или, лучше сказать, производить без отрыва от домашних условий.

Все затихли умиротворенно и вскоре заснули. Между прочим, такая способность дрыхнуть сутками почти без перерывов может развиваться только в больнице и больше нигде. Потому что если в больнице не спать, то куда же девать такую уйму дармового времени?

Конечно, можно читать, писать письма забытым друзьям и родственникам, смотреть телевизор, играть в какие-нибудь настольные игры. Но что-то все это быстро наскучивает в условиях стационара, начинает от этих дел клонить человека в сон, едва он берется за них. Такова, видать, особенность больничной жизни. И по-моему, некоторые категории людей просто-таки нуждаются в том, чтобы примерно раз в год укладывали их в стационар, устраивали им принудительные госпитализации, вне зависимости от состояния здоровья. Чтобы могли они выспаться как следует, а главное, собраться с мыслями.

Поскольку, бывает, некоторым вообще ни разу в жизни не удается собраться с мыслями. А потом заболеют, попадут в больницу — а уже и помирать пора. Так и помирают без мыслей.

По-настоящему Афоню звали вовсе и не Афоней, и не Афанасием, а Афанорелем. У него в паспорте так прямо и написано: «Афанорель Греков». Без всякого отчества, словно он нерусский.

Да он и был нерусским. Греком был от рождения наш Афанорель, самым настоящим чистопородным греком. А может быть, даже и более чистопородным, чем все живущие ныне греки, не в обиду им будет сказано. Поскольку был он не простым, а древним греком.

А случилось с ним в ранней молодости вот что. Жил наш Афанорель в славном Пелопоннесе, дом свой имел, рабов сколько-то, причем среди них и славяне имелись. Жил нормально, как и полагалось честному человеку, рабов своих бил редко и старался при этом не калечить, поклонялся богам олимпийским, и боги за это хранили Афанореля до поры до времени.

Хранили-хранили, пока не прогневал он кого-то из них нечаянно. Даже и сам не понял, когда прогневал и как. Нам-то с нашим Иисусом Христом намного легче. Прострафилась, так хоть точно знаешь — перед кем. Знаешь, стало быть, и перед кем конкретно извиняться. А в Древней-то Греции — попробуй! Не вдруг еще и грех замолишь.

Словом, шел однажды, шел Афанорель по своему Пелопоннесу, улыбался солнцу, радовался жизни, стучал древнегреческими сандалетами по булыжной мостовой. И поскользнулся на сухом ровном месте. И провалился черт-те куда!! Провалился в будущее на глубину примерно так двадцати пяти веков. То есть в наше с вами время.

И вот стоял так бедняга Афанорель посреди бывшего теперь уже Пелопоннеса, вовсе не своего, а давно уж нашего, хлопал глазами на ничуть не постаревшее солнышко, озирался по сторонам и бормотал что-то религиозно-языческое. Вроде как «ё-ка-лэ-мэ-нэ...» или еще что-то в этом духе.

И окружала его толпа наших граждан. Окружала, окружала, пока совсем не окружила, так что при всем желании не мог он уже вырваться из этого окружения, не мог затеряться в толпе отдыхающих.

А вообще, интересно было, конечно, людям наблюдать, как прямо из воздуха, прямо посреди улицы материализовался этот древний грек.

Время стояло тревожное. Только-только определились с одним простовато-наглогато-наивным пареньком, залетевшим к нам из-за кордона на маленьком самолетике, а тут еще один самовольный визитер. Нет, если б не самовольный, так никто бы и слова не сказал.

Но Афанорель визы не имел, а к тому же принадлежал вообще к бог знает какой мрачной общественно-экономической формации. Против этой формации капитализм — прямо-таки про-

грессивнейшая и гуманнейшая форма правления.

И прямо там, посреди бывшего Пелопоннеса, и сказал Афанорель свою, ставшую потом излюбленной, первую фразу. Он сказал ее, когда как следует осмотрелся вокруг, когда осмотрел достаточно пристально наших с вами рядовых сограждан, только загорелых и полуголых по причине нахождения под солнцем знойного юга.

— У нас, в Древней Греции, все не так! — вот что сказал Афанорель.

И сказал-то он эту фразу, по-видимому, на своем родном языке, то есть по-древнегречески, но люди как-то необъяснимо все поняли, климат, наверное, помог, очень схожий с древнегреческим. И в их действиях стала промелькивать какая-то пока еще не очень явственная агрессивность.

Короче, трудно сказать, что сделала бы с бывшим рабовладельцем толпа, возможно, и ничего страшного не сделала бы, но быстро приехали вызванные кем-то люди, большие специалисты по древнегреческим и другим аналогичным делам, погрузили счастливого от новых переживаний путешественника по времени в надежный блестящий автомобиль и умчали вдаль. Только их и видели.

— Меня зовут Ваня, — сказал ему один из сопровождающих лиц, — мне приказано с тобой дружить.

Сказал и улыбнулся. И Афанорель тоже улыбнулся ему в ответ. Знакомиться с нашими товарищами ему понравилось, потому что их, как оказалось, звали совершенно одинаково. Да и внешне они были неотличимы: все в черных костюмах, черных штиблетах, в белых рубашках и черных галстуках. И у всех были одинаковые проборы на голове, одинаковые улыбки на лицах, у всех что-то одинаковое топорщилось под мышкой, так что наблюдательный Афанорель сперва это что-то принял за особый орган, которым природа наделила людей будущего в процессе эволюции. Позже-то он все доподлинно узнал, во всем разобрался и посмеялся над своей типично древнегреческой наивностью.

Ну, конечно, сопровождающим Ваням было интересно узнать: как и с какой целью попал этот чужой гражданин на исконную нашу территорию. И они были очень усердны в попытках удовлетворить свое любопытство. Они собрали со всей страны целую толпу историков, специалистов по античности, специалисты задали бедному древнему греку около двадцати двух миллионов вопросов по его родной стране, и он ответил на все эти вопросы.

И специалисты признали в нем коллегу, правда, многое путающего, точнее, многое с каким-то умыслом извращающего. Но увидеть в нем прищельца из бездны мрачных веков не смог никто. И завидной была бы участь бедного нашего Афанореля, если бы у кого-то не мелькнула счастливая во всех смыслах догадка. Так бы и

запомнился он тем, кто был с ним в те дни близок, элементарным шпионом иностранной разведки, не признавшимся ни в чем, или, в лучшем случае, сумасшедшим, подлежащим строгой изоляции, что никогда не являлось неразрешимой проблемой.

Но содрали с парня последнюю тунику и отдали ее на радиоизотопный анализ. И анализ со всей неотвратимой очевидностью изобличил в нем самого настоящего древнего грека.

И встал со всей неприглядностью вопрос, что же теперь делать с этим древним греком. И вообще, какая от него может получиться государственная польза.

В общем, со всех, кто был в толпе, встретившей Афанореля в момент прибытия, была взята подписка о неразглашении. А так же и с тех, кому они успели рассказать о редчайшем природном явлении. Это была нелегкая, но совершенно необходимая работа. Нельзя же было, чтобы о событии узнали враги, они бы тогда опять стали насмехаться и ехидничать, как это уже не раз бывало в похожих ситуациях. И хотя мы не боимся насмешек, но незачем лишний раз нарываться на них.

А что касается государственной пользы, то можно было бы, конечно, уточнить историческую науку. Воспользоваться, так сказать, удобным случаем. Но зачем? Чтобы продемонстрировать всем совершенную бесполезность многих деятелей науки и научных учреждений? Гуманно ли это? Не гуманно! А значит,— и не полезно! На том и порешали.

И условились никого не волновать, все оставить, как было, сделать вид, что нет и не было среди нас никакого живого древнего грека. И Афанорель тоже дал соответствующую подписку. А ему за это — свободу, работу и, главное, нормальную биографию. Теперь он только изредка, забывшись, говорит, видя какие-нибудь беспорядки: «А у нас, в Древней Греции, не так!».

6.

И дальше все было у Афанореля так, как бывает у всех нормальных современных людей. Он подтянул свое образование, для чего потребовалось не слишком много усилий.

Для повседневной жизни, вопреки распространенному утверждению, и школьная программа сверхизбыточна. Так, например, из физики абсолютно необходимо иметь понятие о процессе растворения, о расширении тел при нагревании, а также о законах механики на уровне ощущений.

Из химии достаточно знать некоторые особенности процесса горения, хотя и это тоже на уровне ощущений, на уровне повседневного житейского опыта.

Из истории надежней всего правильно пони-

мать последние события, а их, изредка читая газеты, только правильно и можно понимать, а не правильно и при всем желании не поймешь.

Из области литературы — требуется любить Пушкина, Толстого и еще нескольких классиков, причем знать их произведения совсем не обязательно.

Из биологии надо выучить два слова: ген и хромосома. А что эти слова означают — это уже, пожалуй, излишняя углубленность, слабо граничащая с занудством.

Скажите, что еще нужно знать, как получают дети? Правильно, нужно. Но биология тут ни при чем. К тому же эта проблема во все времена решалась без всякой подготовки.

Ну, и так далее. О высшем образовании вообще говорить не приходится. От него в повседневной жизни пользы никакой. От него, скорее, вред один в повседневной жизни.

И только в области астрономии Афанорелю пришлось в корне пересмотреть свои воззрения. Чтобы не быть белой вороной. То есть практически ему пришлось запомнить и поверить, что Земля — шар. И все! И среднекультурный уровень ему был обеспечен. Язык-то он изучил быстро, поскольку без этого нельзя было ступить и шагу.

Зато когда Афанорель в какой-нибудь компании начинал щеголять познаниями в античной области, начинал читать на память и на языке оригинала певучие древнегреческие стишки, в том числе и Гомера, называя при этом великого слепого рядовым и даже средним литературным деятелем своего времени, начинал излагать философские воззрения того романтично-загадочного периода, присутствующие буквально балдели от слышанного.

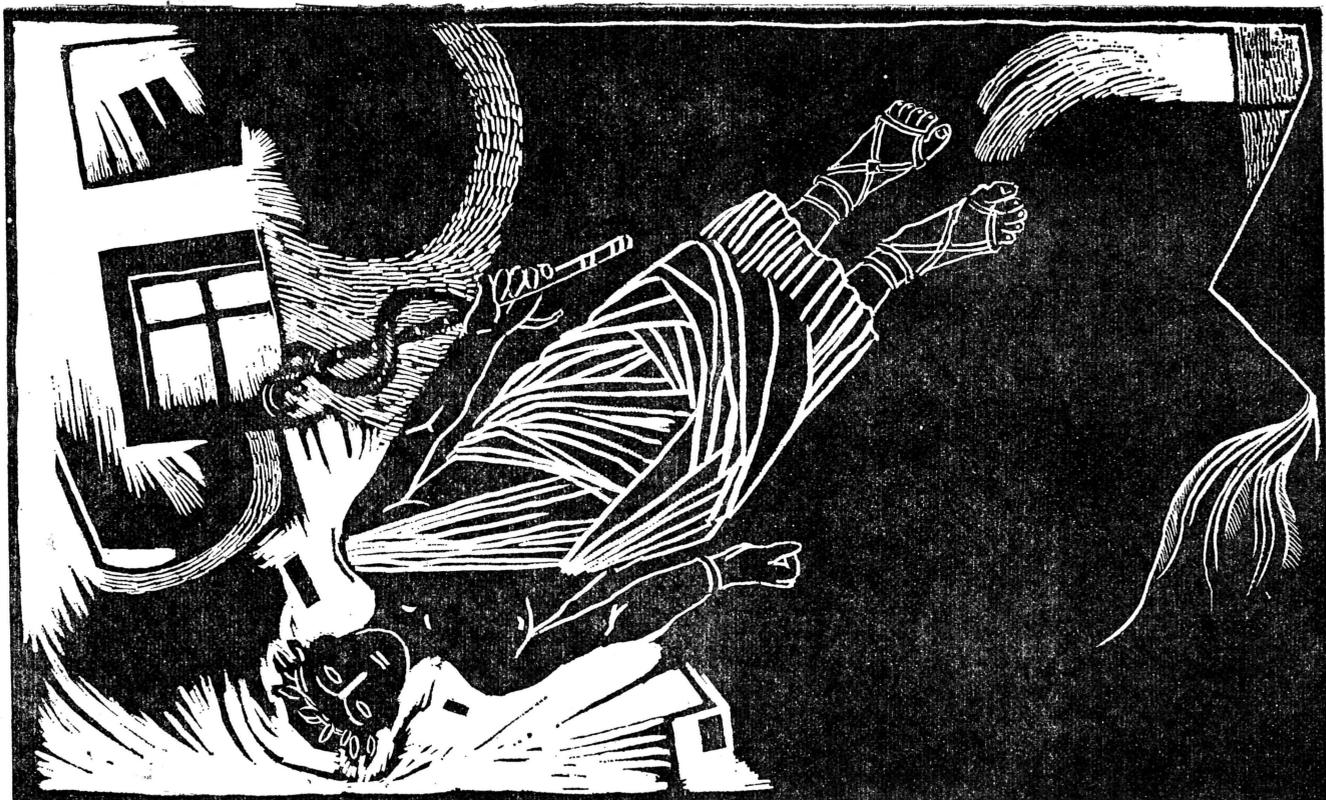
Одни балдели, а другие откровенно злились, завидовали и раздраженно думали: «Нахватался верхушек, начитался популярных брошюр, а теперь вешает лапшу на уши. Пойди, проверь, сколько процентов врет, а сколько не врет. Я бы тоже мог, но не хочу...»

Ну, захотел бы, а что дальше? Да ничего! Потому что среднекультурный уровень он и есть среднекультурный. Он же предполагает знание многого понемногу, а всякая углубленность для него неорганична.

То есть если кому-то в компании становилось завидно и хотелось как-то одернуть зарвавшегося, то что он мог противопоставить ему? Ну, мог бы попытаться поговорить о фильмах. Но как поговоришь, если актеров по фамилии знаешь лишь некоторых, а режиссеров не знаешь совсем?

Можно было бы сделать попытку обсудить работу телевидения, уж оно-то у всех на виду. Но как при этом блеснуть и выделиться, и затмить человека, читающего на память Гомера? Да — никак!

То есть выпущенный в жизнь Афанорель в



окружении далеко ушедших, как могло казаться, потомков не затерялся, не пропал из-за дремучести и невежественности, а даже и совсем наоборот. В некоторых компаниях, в которых он очень скоро сделался своим человеком, некоторые товарищи его прямо-таки боготворили.

А надо сказать, что прежде, чем выпустить бывшего древнего грека в жизнь, о нем не только в смысле биографии позаботились, но и, соответственно, в смысле жилья, профессии. И на первоначальное обзаведение не поскупились. Мы ведь всегда отличались гостеприимностью и сердечностью по отношению к путешественникам, особенно — к путешественникам по времени.

Учитывая явную склонность Афанореля к математике, свойственную, надо полагать, тому времени, а также безукоризненное знание им греческого алфавита, совершенно необходимого для формул, нашему хроноэмигранту, можно ведь называть его и так, был выдан диплом экономиста. Конечно, это не означало, что он сразу мог стать высококвалифицированным начальником в экономической области, но ведь известно немало примеров, когда экономистами у нас служат и учителя, и агрономы, и даже искусствоведы по образованию. И справляются. Главное — иметь диплом и стремление освоиться в коллективе.

И все получилось нормально. Афанорель устроился по рекомендации на работу, начальство учло, конечно, кто именно рекомендовал моло-

дого специалиста, прикрепило к нему толкового наставника. И через год Афанорель уже считался крепким и растущим середняком в своем, теперь уже кровном экономическом деле. А еще через год он уже подумывал об аспирантуре. Правда, все так и осталось на уровне подумывания. Поскольку, чем дальше он жил в прогрессивном, по сравнению с древнегреческим, обществе, тем больше у него образовывалось различных интересов в жизни и, конечно же, неслужебных интересов.

Он даже по беззаботности своей, связанной не столько с воспитанием, сколько со специфическими особенностями молодого возраста, начал постоянно забывать вовремя отмечаться там, откуда, собственно говоря, и пошла его наполненная жизнь в нашем времени.

Ему напомнили, он искренне раскаивался, а вскоре опять забывал. И это, между прочим, тоже означало, что акклиматизация проходит успешно.

Афанорель определился на постоянное жительство в тихий, заштатный городок Кивакино. Возраст подходил критический, и Афанорель после недолгих колебаний и увиливаний женился на скромной тихой девушке, с которой его свела совместная экономическая работа, а также некоторые известные обоим государственные секреты.

С годами наш Афанорель даже и думать научился исключительно по-русски, даже когда думал об утраченной родине. А когда Афанореля

в очередной раз не вызвали для возобновления подписки о неразглашении, он этого даже и не заметил.

Теперь Афанорель, в принципе, может хоть кому рассказать, кто он и откуда, да ведь насмеют. Ведь одно дело — читать по памяти Гомера на языке первоисточника, другое — отчебучить такую глупость, граничащую с психической ненормальностью. Надо же понимать разницу.

В общем, это может показаться удивительным и невозможным, но прошло всего-то десять лет с тех пор как поселился Афанорель в нашей стране на постоянное жительство. Всего каких-то десять лет, подумать только!..

7.

В предыдущую зиму довелось Афанорелю первый раз в жизни встать на лыжи, раньше как-то все не доводилось. Встал он на лыжи, но уж лучше бы он этого не делал. Покатился с горки, упал и сломал ногу.

Нога срослась быстро, но, увы, неправильно. И пришлось ломать. Так Афоня и оказался в кивакинской райбольнице с аппаратом Илизарова на бедной ноге.

Он целыми днями пялился на потолок, разглядывал на нем замысловатые трещины, читать уже совсем не хотелось и вообще ничего не хотелось. Разве что — есть. Уж больно отвратно здесь кормили. «На рубель в день», — как водится.

И Афанорель с утра начинал ждать прихода жены, не столько ее, сколько объемистую хозяйственную сумку. Хотя немножко и скучал по жене, конечно.

Лизавета, так, кстати, звали жену, была уже далеко не та, что раньше, когда они познакомились. Она была теперь совсем не та, и куда все девалось за недолгое, в сущности, время!

Но Афанорель все равно любил свою Лизавету, не так, конечно, как вначале, по-другому, в полном соответствии со стажем совместной жизни, во всяком случае ему было с ней уютно и спокойно, так что даже и в голову не могло прийти желание как-то обновить, освежить свою личную жизнь.

Афанорель угощал домашними пирожками и котлетками своих сопалатников, впрочем, так было заведено до него и после него, дай бог, не кончится. Тимофеев при этом вежливо отказывался, ссылаясь на сытость, что соответствовало действительности, поскольку родственники его тоже не забывали. А дядя Эраст не отказывался, потому что ему было нечего добавить к более чем скромным казенным яствам. Его никто не навещал, хотя, если верить словам старика, имелась у него на этом свете и дети, и другие родственники, обязанные быть у каждого нормального человека.

Но дядя Эраст, конечно, не мог объесть Афа-

нореля, у него и аубов не было, и вмещал-то организм старика мало. Да и кроме того, был старик, как ни странно, очень щепетилен и стеснителен в угощении за чужой счет. И невозможно было заставить его съесть больше тех крох, которые он сам себе позволял.

Ну, а четвертый сопалатник, тот, временно неразговорчивый, и при всем желании не мог принять угощения. Он временно не мог широко открывать рот, поскольку лопалась на губах и лице еще не окрепшая молодая кожа. А посему весь его рацион ограничивался жидкой кашей, которую вливали бедняге в рот навещавшие его по очереди угрюмые родственники, а также санитарки или сами сопалатники, когда было больше некому это сделать.

Родственников и самого беднягу утешала медсестра Валентина.

— У нас таких жареных каждую осень — не по одному, — сообщала Валентина натурально веселым голосом, — нынче как-то ненормально — всего один. Ну, ничего, еще осень впереди.

Почти все обгоревшие погреба сушат. Зажгут паяльную лампу — и уходят. Потом приходят — лампа не горит. Весь кислород съела и потухла. Поджигают снова, а то, что в воздухе бензиновые пары, — не понимают. Вот тебе и пожалуйста.

— Ладно, еще глаза целые, — с готовностью поддакивали родственники.

— С глазами проще, — объясняла квалифицированная Валентина, — их рефлекс защищает. Они, как чуть что, автоматически захлопываются.

Таким образом, всю передачу, принесенную Лизаветой, Афанорель постепенно, до следующего вечера съедал, в основном сам, и не то что он был рабом живота, но в этой невеселой обстановке дополнительная домашняя еда имела не столько материальное, сколько духовное значение, она изрядно скрашивала традиционную скуку лечебного учреждения.

И если Афанорелю дополнительные калории не могли, во всяком случае пока, нанести ощутимого вреда, поскольку в свои тридцать два он был еще вполне юн и поджар, то Тимофееву те же самые дополнительные калории угрожали серьезными последствиями.

— Кончай жрать, Тимофеев, — говорил иной раз дядя Эраст, сочувствуя тому, четвертому, — не видишь, что ли, человек страдает от этих терзающих душу запахов. Ведь ему пока что чревоугодие недоступно. А если не можешь не жрать, так выйди в коридор.

Против этих слов, конечно же, нечего было возражать Тимофееву.

Вот так они все и жили в ожидании любых новостей, а также выписки домой, которая рано или поздно постигает всех без исключения больных. Правда, случается, некоторых выписывают на слишком постоянное место жительства...

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ



**Игорь
ОНКИН**

ВСТРЕЧИ С ИСЕТЬЮ

Второй раз войти в одну и ту же реку нельзя... Но человек из года в год плавает по одной и той же реке. Что ему в ней — в реке Исети?.. Неутоленная мечта о море-океане? Желание узнать родной край? Страсть к путешествиям? А может быть, только так и можно узнать то, что хочешь хорошо узнать — все время открывать новое в знакомом и привычном?..

Когда я уходил в свои походы, я не задавался целью писать о них. Плавал по реке, на которой родился и вырос, составлял карты водоемов, рек, островов, даже пытался проводить гидрографические исследования. Но создать атлас или лоцию верховьев Исети мне было мало. Лишь спустя годы я понял, как неплохо было бы иметь единомышленников... И решил написать.

Настоящее море я видел один раз, в Крыму. О мореходке думать было бесполезно — не прошел по зрению, и я сам занялся морскими науками: навигацией, астрономией, географией, судостроением, историей мореплавания.

Конечная остановка трамвая «ВИЗ» представлялась мне маленьким портом. Здесь в любое время года собирались завсегдатаи; усаживаясь на рыбацкие ящики, не спеша доставали свои «астры» и «беломоры», и я жадно вылавливал из неторопливых бесед названия: Каменный остров, Гамаюн, Малоконка... Подходил старенький трамвай 11-го номера и увозил всех нас в невыразимо прекрасный мир... Я любил лодки на берегу: простонародные плоскодонки или рыбацкие челноки, одни в штабелях, другие на песке вверх килем, третьи наполовину в воде и вздрагивают от прибора, четвертые заботливо поставлены на стапеля. Мне нравилось думать, что каждая

из них имеет хозяина, капитана... Пару раз брал лодку напрокат, но что такое лодка напрокат? Подгнивший фюфан или углая плоскодонка с уключинами, разбитыми до такой степени, что невозможно грести по прямому курсу...

В один прекрасный день я вышел из ЦУМа с восьмикилограммовым тюком с резиновой лодкой — это была первая моя лодка. На этой «резине» я не раз пересекал пруд, заплывал в Чусовское озеро, спускался по Исети в Каменском районе и даже проплыл всю Исеть в черте города, от ВИЗа до Уктуса. Моя первая навигация длилась около двух месяцев. Потом настала зима, но мысли мои уже витали в апреле будущего года... Двор моих родственников, живших рядом с Московским трактом, должен был в апреле превратиться в судоверфь. Доски, дюраль, гвозди, краски — все это уже лежало припасенное на чердаке бабки. Был куплен якорь системы Матросова, 50 метров линия для оснастки, шнит парус. Мне не у кого было спросить совета, приходилось полагаться на собственные книжные знания и интуицию.

Свою первую самодельную лодку я назвал «Исеть». На прикидку вес ее можно было определить килограммов в пятьдесят, что в общем соответствовало проектному. Весной отец помог мне машиной переправить лодку к пруду. «Исеть» долго утонула килем песчаное дно, потом шорох исчез — лодка легонько пошла вперед. Осадка была гораздо меньше, чем я предполагал. Осторожно сел на планшир борта, «Исеть» круто накренилась, но оставалось еще сантиметров десять сухих. Я был доволен: остойчивость — основной критерий надежности судна! Выйдя на хорошую воду, я поставил парус. Пока из всего парусного вооружения был один прямой фок — другие виды я до конца еще не узнал, но планировал уже поставить стаксель.

Состоялось первое серьезное плавание на собственном экспедиционном судне. Со мною были младший брат Юрий, двоюродный брат Виктор и верный пес Рекс. В ту навигацию пруд был мною покорен. Но впереди еще оставался целый август с его относительным благодушием комаров, и я решил отправиться на поиски истоков Исети. Экипаж подобрал понадежнее, пригласил одноклассника. Евгений немного помог мне в строительстве лодки, и я спросил: «Узнаешь ли ты «Исеть» среди кучи лодок?» Женька самодовольно хмыкнул: «Наша красавица среди этого барахла, как гром среди ясного неба!» То, что мы увидели, подой-

дя к лодке, было действительно громом среди ясного неба... Замок взломан, форпик совершенно и вопиюще пуст... Исчезли якорь, запасные концы, ремонтный набор, черпак и руль.

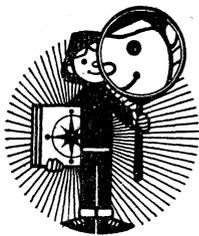
И все-таки мы не отменили поход: накачали «резину» и вышли караваном. Много испытаний нам выпало тогда. Шквал переломил жиленькую мачту... В маленькой бухте мы едва разобрались с кучей мокрых парусов, а утром паруса и снасти, побывавшие накануне за бортом, превратились в ледышки... Нам предстояло пройти озеро Мелкое. Электричка прошла через станцию Гать... Из кабины машинист помахал рукой нашему каравану. В туристском справочнике сказано: чтобы перенести через плотину лодку, нужно получить разрешение дирекции СУГРЭСА. Но где тут дирекция?! Не спеша мы разгрузили лодки, перенесли на другую сторону дамбы и продолжали плавание уже в морском режиме, по озеру Исетскому. От острова Красенький пошли под парусами.

...Кому-то подумается: эка невидаль — проплыли тридцать километров! Да, всего тридцать... Но в юности все кажется значительным!

Потом у меня появилась «Исеть-2». Я ставил себе более сложные задачи, например, проплыть речку Черную — самобытную, со своеобразным характером. Теперь меня не остановят завалы и коряги, мели и перекаты, я знаю местность не по карте, а воочию. Знаю, что на высококом берегу острова Березовый была стоянка древнего человека; что началом речки Исети является Бобровка, впадающая в Шитовское озеро; отыщу в густоте зарослей крохотную речку Сагру, порадуюсь плантациям шиповника на Малых Соловках...

Каждый год меня ждет встреча с Исетью. Иногда мне попадаются мальчишки с удочками. Из любопытства спрашиваю у них что-нибудь вроде: «Далеко ли до острова Мелкого?», хотя прекрасно знаю, что до него два километра. А мальчишки понимают мой вопрос по-своему и с затаенной надеждой отвечают тоже вопросом: «А что, там лучше клюет?..»





МИР

НА ЛАДОНИ

Первый, второй...

Космонавтика — новорожденная отрасль. В ней все впервые. Что ни полет — рекорд. Любой школьник уверенно назовет имя первого космонавта Земли. А второго? Многие отвечают: Титов. Да, Герман Титов стал вторым землянином, совершившим орбитальный космический полет. Это было 6 августа 1961 года. А сразу вслед за Юрием Гагариным, 5 мая 1961-го, на 15 минут поднялся в околоземное пространство первый астронавт США Алан Шепард. Ему посчастливилось ровно через 10 лет ступить на Луну. Мы знаем, что и Ю. А. Гагарин готовился к испытаниям нового корабля «Союз»... А первым из американцев облетел вокруг голубого «шарика» Джон Гленн, уже в феврале 1962-го.

Первый выход в открытый космос совершил Алексей Леонов 18 марта 1965 года. 3 июня его подвиг повторил Эдвард Уайт. Экипаж «Аполлона-8» впервые в истории пилотируемых полетов облетел Луну в декабре 1968 года. Три месяца раньше это же сделал советский «Зонд-5» с животными на борту. На Луну ступил первым Нил Армстронг — 20 июля 1969 года. Он же совершил первую ручную стыковку на орбите — 16 марта 1966 года.

6 июня 1971 года стыковкой «Союза-11» со станцией «Салют» началась летопись советских орбитальных вахт. Первая экспедиция на американскую станцию «Скайлэб» стартовала через два года — 25 мая 1973-го.

Ровно через 20 лет после первого полета человека в космос — 12 апреля 1981 года в США начались полеты кораблей многоцелевого пользования. Первый «шаттл» («челнок») под названием «Колумбия» повел Джон Янг — единственный землянин, совершивший 6 космических полетов (Владимир Джанибеков — 5. Пока).

Ровно через 20 лет после полета Валентины Терешковой — 18 июня 1983 года на «Челленджере» поднялась в космос первая астронавтка США Салли Райд. Однако это произошло уже после полета Светланы Савицкой. С. Савицкая первая из женщин выходила в открытый космос — во время своего второго полета, 25 июля 1984 года. Через три месяца шагнула за борт «Челленджера» Кэтрин Салливан.

17 лет космос осваивали только граждане СССР и США. Программа «Интеркосмос» открыла путь на околоземную орбиту представителям и других государств. Первым из них стал летчик-космонавт ЧССР Владимир Ремек (март 1978). В ноябре 1983 года на американском корабле «Колумбия» совершил космический полет гражданин ФРГ Ульф Мербольд.

● Центр Земли

725 лет назад этот маленький город в Тюрингии получил «свидетельство о рождении». Но седина в бороду, а бес в ребро: горожане уже десятки лет хвалятся тем, что их Пауза расположена в центре Земли. Над ратушей красуется трехметровый стеклянный глобус, минут за 5 поворачивающийся вокруг своей оси. Этот светящийся символ всемирно-исторического значения Паузы нельзя не заметить даже в темноте. Но как же городок превратился в географическую достопримечательность? Хроники содержат три версии:

1. Пауза лежала точно посередине маршрута первого перелета дирижабля «Цепелин».

2. Когда-то карта мира была такова, что при ее складывании городок оказывался посередине.

3. В прошлом веке Пауза лежала почти в центре тогдашнего Фогтланда. Хотя она была ничем не лучше соседних местечек этого забытого богом уголка, зато считалась городом. На этой почве могла уже зародиться мания величия.

Она привела к тому, что до сих пор фогтландские собратья Тили Уленшпигеля толкуют за кружкой пива о своей огромной ответственности. Если уж живешь в «центре Земли», надо и ход планеты регулировать. «Комиссия по смазке земной оси» заботится о том, чтобы земной шар вращался ровно и бесшумно. Гостям города демонстрируют выступающий металлический конец «оси», а для особо уважаемых бургомистр Райнер Мэрц припасает бутылочки со смазкой. «Почему бы нам не поддерживать эту забавную традицию?» — считает отец города, производящего текстильные изделия, мебель, электротовары. И кто присмотрится повнимательней, обнаружит на них фирменный знак. Это глобус — привет из «центра Земли».

Б. ПИНАЕВ

● Три ипостаси манускрипта

Не так давно по Центральному телевидению был показан сериал из десяти фильмов «Матенадаран» (в переводе на русский — библиотека). Он посвящен крупнейшему в мире собранию древнеармянских рукописей.

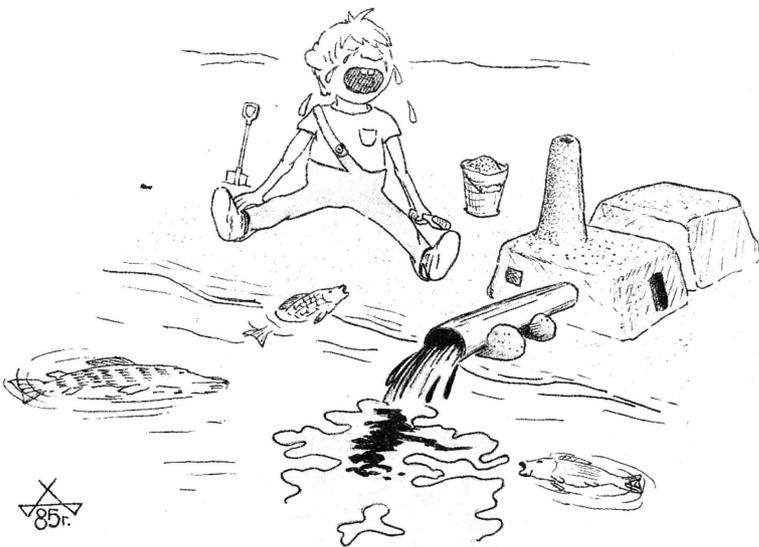
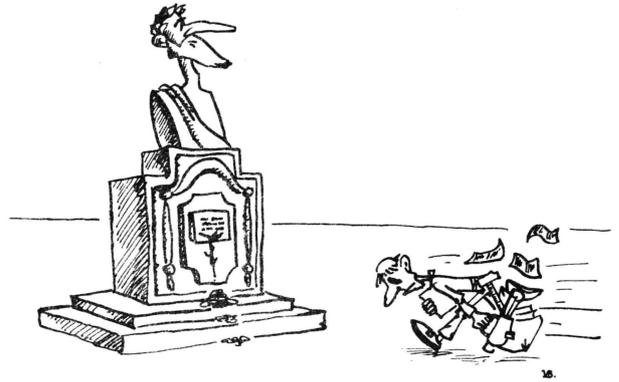
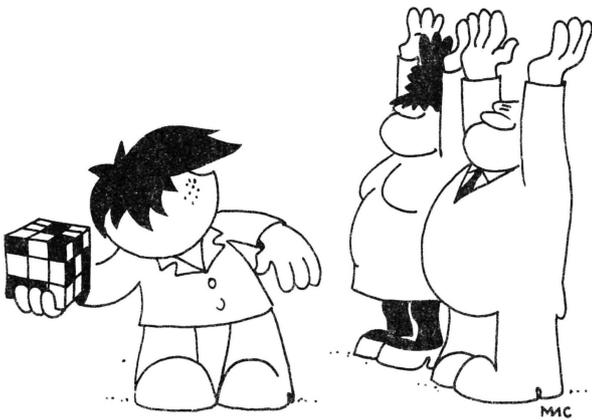
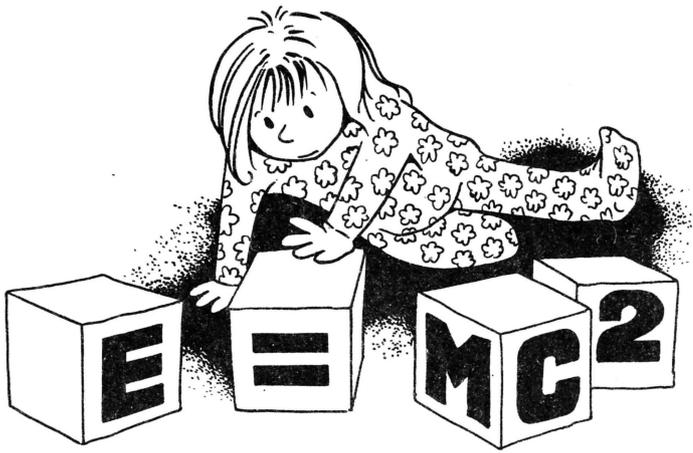
Самая яркая жемчужина среди них, запечатленная на многих кинокадрах сериала, — первенец национальной книжности Армении, пергаментное Евангелие. Этот уникальный манускрипт написан месроповскими буквами, названными так по имени Месропа Маштоца, который в начале пятого века новой эры создал самобытную армянскую азбуку.

Когда поднимешься к величественному зданию Матенадарана, расположенному на горном склоне, перед входом тебя встретит выполненная в камне живописная скульптурная композиция: Месроп Маштоц учит детей азбуке, чтению. Своеобразным «букварем» служит при этом гранитная стела, которая воспроизводит страницу из самого древнего манускрипта Айкастана (страны камней, Армении) с высеченными строками, призывающими: «Познать мудрость и наставления, познать изречения разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смысленность, юноше — знание и рассудительность».

Увидев в сериале «Матенадаран» пергаментную и каменную ипостаси древнего ритета, я вспомнил еще об одной, третьей разновидности манускрипта. Она представляет собой раскрытую книгу темно-вишневого цвета с приведенным выше текстом. Книга предназначена для чтения стоя и потому размещена наклонно на высокой, по грудь человеку, ажурной подставке-пьютре. Все это вырезано командиром самолета Як-40 Рубеном Ахвердзяном из одного куска грушевого дерева. Третья ипостась бесценного манускрипта экспонируется в Музее народного творчества Еревана.

А. СЛАВИН

С. КАЗАНЦЕВ



НАШИ ДЕТИ

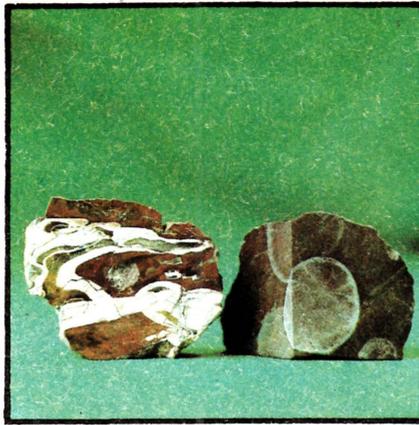
Рисунки
С. Ашмарина, С. Расторгуева,
М. Слобожанина, В. Меркулова,
Д. Харлова,
Л. Пяткова



9-152

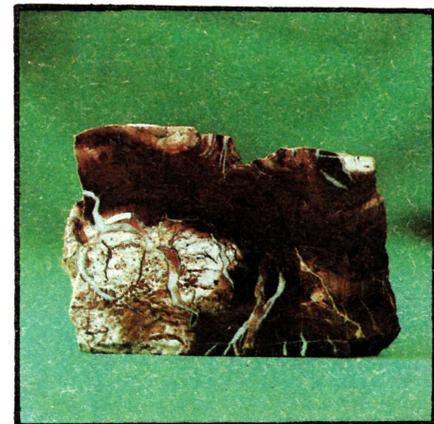
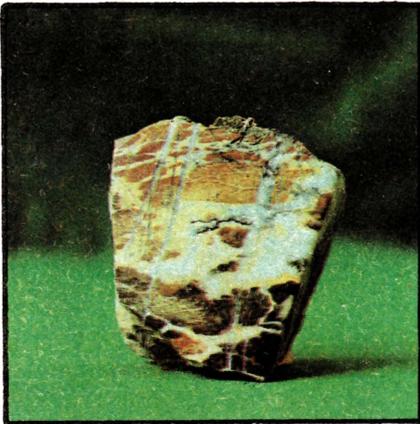
Главная горная порода Урала, ценный камень по старому «Горному уставу» — это о яшме. Яшма — чудо природы. Редкие камни могут щеголять такой живописной росписью; да что там роспись, что там колорит — рисунок некоторых яшм воспроизводит целые картины, пейзажи-то уж точно...

В свердловской школе № 130 собраны образцы самых различных яшм. Много лет существует здесь юношеская геологическая партия. Несколько ее поколений воспитали геолог-наставник Юрий Григорьевич Крежевских и учительница Людмила Сидоровна Крежевских...



На снимках: яшмы из школьного музея.

Юные геологи 130-й школы — «академики» по яшмам. Они провели ревизию более чем тридцати месторождений; не раз занимали первые места на всеуральских и всесоюзных геологических слетах; их заявки на открытие месторождений есть в Государственной книге первооткрывателей. Они знают все яшмы нашей страны, а на Урале области все залежи — образцы для музея они добыли своими руками в летних полевых экспедициях. Именно специализация юношеской геологической партии делает музей школы уникальным. Здесь собрана богатейшая коллекция, целый клад...

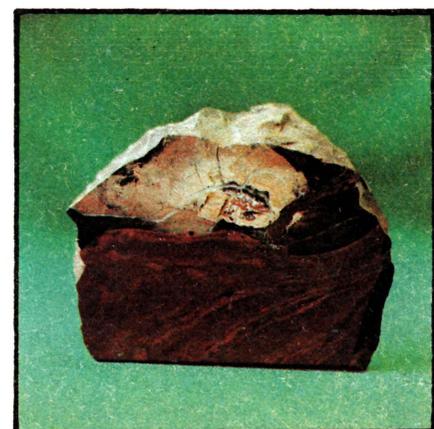
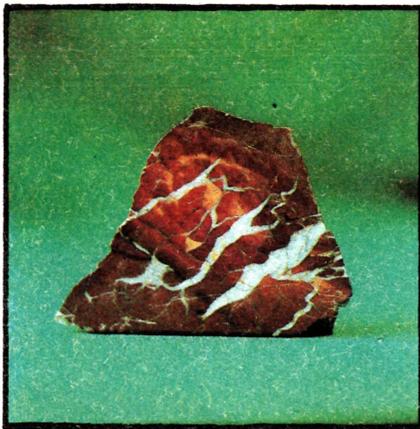


Яшмовая живопись

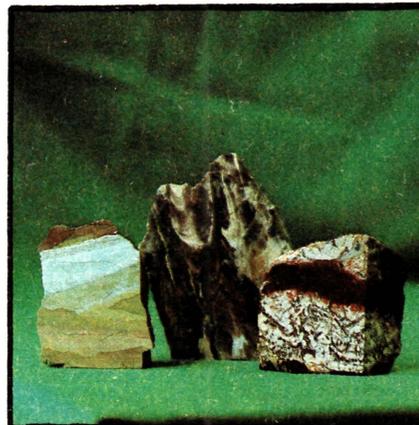
Нина ШИРОКОВА

ФОТО

Игоря ГОРЯЧЕВА



Есть такое уральское название — коломенковая яшма, «коломенкой» называли материю для летних рубах палевого цвета... Пестрота и живописность яшм удивительны! В 130-й школе представлены всевозможные образцы этого каменного чуда. Орская яшма напоминает палитру художника. Аушкульская — ландшафтная, ямская — струйчатая, маломуйнаковская — ленточная... Калиновская — сложная, как букет из разных цветов... Уклькташская, так называемая «каминная» — однообразная, спокойная по цвету... И, каждая неповторима!



Яшма — камень поделочный: она может стать и массивной колонной, и изящным лоточком. Но это камень достойный и благородный!. Яшма шла на посольские и свадебные дары, служила военным трофеем, украшала (среди прочих двенадцати ценных камней) одежды первосвященников...

Сейчас 130-я школа считала целесообразным выделить средства для организации своей камнерезной мастерской. Ребята ищут и открывают яшмы — ребята будут их и обрабатывать. Имея такое богатство, такие запасы камня — как не научиться делать из него всякие полезные и красивые вещи!..